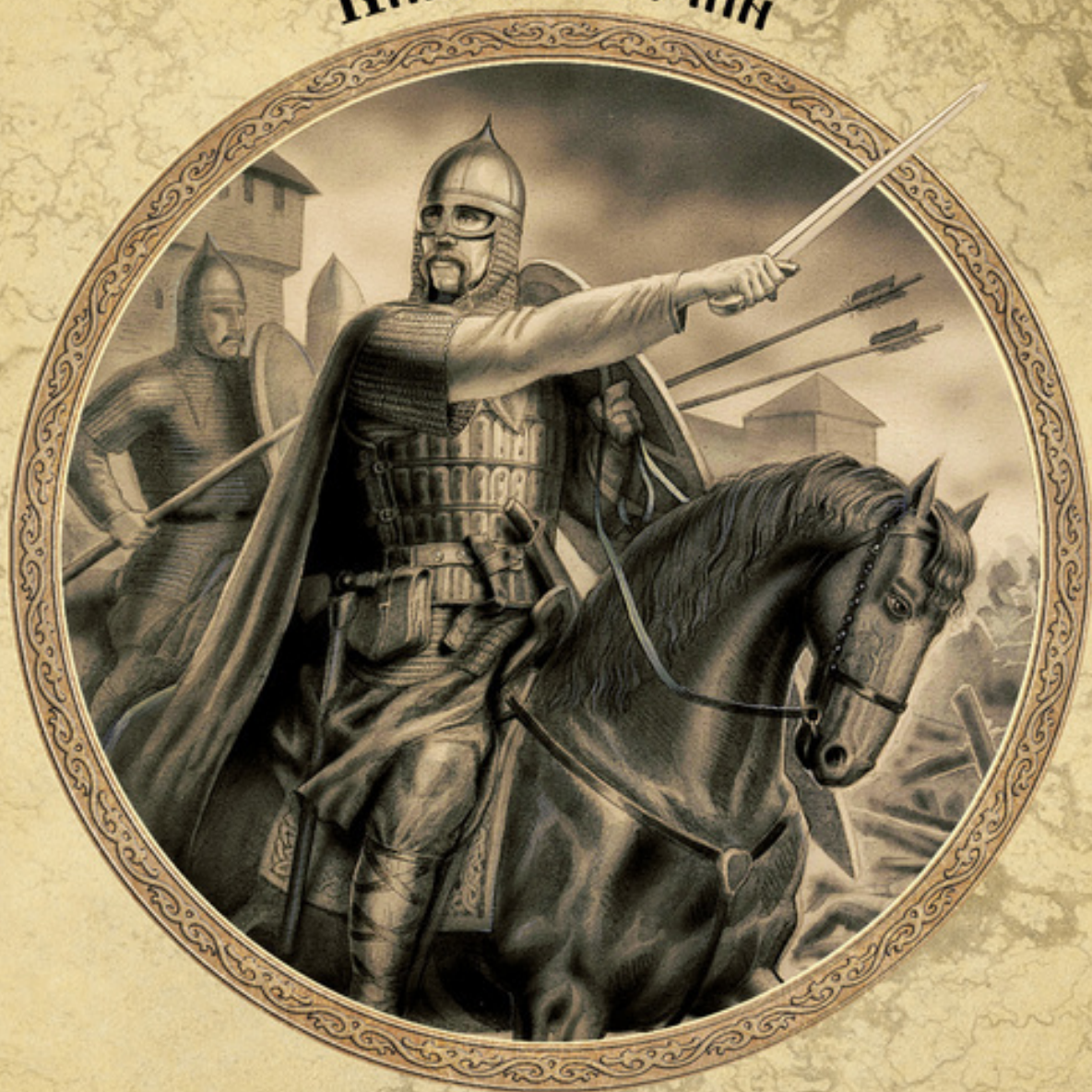


Ў истоков Руси

Николай Кочин



Князь
Святослав

У истоков Руси

Николай Кочин
Князь Святослав

«ВЕЧЕ»

1983

Кочин Н. И.

Князь Святослав / Н. И. Кочин — «ВЕЧЕ», 1983 — (У истоков Руси)

ISBN 978-5-4444-8890-4

О Святославе Игоревиче, князе Киевском, написано много и разнообразно, несмотря на то что исторические сведения о его жизни весьма скудны. В частности, существует несколько версий о его происхождении и его правлении Древнерусским государством. В своем романе Николай Кочин рисует Святослава как истинно русского человека с присущими чертами национального характера. Князь смел, решителен, расчетлив в общении с врагами и честен с друзьями. Он совершает стремительные походы, больше похожие на набеги его скандинавских предков, повергая противников в ужас. И хотя его правление было недолгим, Святослав оставил своим сыновьям богатое наследство, которое они смогли приумножить...

ISBN 978-5-4444-8890-4

© Кочин Н. И., 1983

© ВЕЧЕ, 1983

Содержание

Об авторе	6
I. Пир Святослава	8
II. Никифор Фока	16
III. Миссия Калокира	19
IV. Исповедь Калокира	27
V. Отцы и дети	35
VI. Ярило	40
VII. Полюдье	48
VIII. Схватка с призраками	58
IX. Иоанн Цимисхий	66
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Николай Кочин

Князь Святослав

© Кочин Н. И., наследники, 2014

© ООО «Издательство «Вече», 2014

* * *

Об авторе

Интерес к творчеству замечательного русского советского писателя Николая Ивановича Кочина в последние десятилетия заметно возрос. Безусловно это связано с переизданием лучших произведений певца российской деревни. Реализм его романов позволяет наглядно увидеть картину зарождения и развития новых хозяйственных и социальных отношений в нижегородской деревне середины 20-х годов прошлого века. В этом смысле бытовые романы становятся наглядными литературно-историческими документами, правдиво отображающими важнейший этап эволюции российской деревни. А писатель хорошо знал изображаемую им среду. Он сам родился и вырос в сельской местности.

Николай Кочин родился 2 (15) июня 1902 года в селе Гремячая Поляна бывшей Нижегородской губернии, в семье крестьянина. Смышленного мальчугана, как и многих его сверстников, поставила на ноги Октябрьская революция. Начинал он с работы в комбед, одновременно пробуя силы в качестве селькора популярной всероссийской газеты «Беднота». Талантливый юноша поступает в Нижегородский педагогический институт и заканчивает его в 1924 году. Несколько лет Николай Кочин работает учителем, не прекращая писать заметки и короткие статьи в местную и центральную прессу. К этому же времени относятся и первые литературные опыты. Тематически линии были связаны с Нижегородским краем.

Печататься он начал с 1925 года. Его жизнь в это время отражена в повести «Записки селькора» (1929). Лучшие публицистические работы собраны в сборнике «Почин Почин» (1931). Резко меняется судьба Кочина после выхода романа «Девки» (1928). Популярность писателя на какой-то момент даже стала выше, чем популярность Михаила Шолохова! Николай Кочин вступает в Союз писателей СССР, занимает там различные посты. Из печати выходят роман «Парни» (1934), автобиографическая повесть «Юность» (1937), повесть «Кулибин» (вторая редакция – 1940).

В годы Великой Отечественной войны Н. Кочин выпускает публицистический сборник «Деревня в дни войны». Сборник вышел в 1942 году, а в следующем году писатель был арестован. Ему предъявили обвинения в антисоветской пропаганде и приговорили к десяти годам лагерей. После освобождения и реабилитации Н. И. Кочин вернулся к литературной деятельности.

Важнейшими произведениями последних десятилетий его жизни стали романы «Нижегородский откос» и «Гремячая Поляна». Эти романы вместе с повестью «Юность» составили так называемую «Нижегородскую трилогию», за которую в 1978 году писателю была присуждена Государственная премия РСФСР. Кочин был удостоен ряда высоких правительственных наград: ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и др. Последней работой писателя стал исторический роман «Князь Святослав», опубликованный уже после смерти автора. Умер Николай Иванович Кочин 31 мая 1983 года. Похоронен он в Нижнем Новгороде.

Анатолий Москвин

ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ:

- «Девки» (1928)
- «Парни» (1934)
- «Юность» (1937)
- «Кулибин» (1940)
- «Гремячая Поляна» (1967)
- «Нижегородский откос» (1970)

«Князь Святослав» (1983, опубл. в 1993)

I. Пир Святослава

К приезду князя с Востока и готовились по-княжески. В котлах варили двух молодых волов, да трех баранов, да трех кабанов. Да жарили три десятка тетеревов, да четыре десятка гусей, да уток, да кур. Пшенная каша варилась с коровьим маслом и медом, а кисель с сытой... А на закуску боярам закоптили двадцать окороков ветчины, да солонины три кадки готовы, да яиц в скорлупе пятьсот, да сыру сто кругов. Из Ольвии привезли свежую осетрину – четыре воза. Наварили меду, пива, квасу, свалят с ног, вот такая крепость. Из Корсуня осталось привезенное греческое вино. И еды хватит, и хмельного вдоволь. А так как сам князь до всего этого не большой охотник, так для него жарится молодой жеребенок, медвежатина, журавли, зайчатины...

Тень неудовольствия покрыла лицо княгини Ольги. Повар спохватился, что напоминание о грубых, степных, походных, языческих склонностях князя-сына всегда причиняло матери боль, и поторопился замять разговор.

– Для христиан-бояр и дружинников по случаю поста зажарена рыба, варится горох, да готовятся медовые пироги... А для тебя, княгиня, и всех христиан при дворе я испек просфоры, сейчас их вынесут...

Повар стер фартуком с мясистого раскаленного лица капли пота и облегченно вздохнул. Буря миновала, княгинино лицо стало опять приветливым. На серебряном блюде вынесли пшеничные белые просфоры с выпеченным на верхней части изображением креста. Княгиня Ольга перекрестилась и потрогала просфоры руками, разглядывая изображения греческих букв. Они были четко выпечены. Она велела просфоры отослать в терем, а повару сказала:

– Медвежатину и конину, а также прочую погань варите в другом помещении, чтобы дух не проникал на кухню для всех. Затворяйте плотнее двери...

– Я так и делаю, княгинюшка... Но князь узнает – шею свернет.

Она отпустила повара и пошла по двору мимо кухни, кладовых, погребов, конюшен и бань. Всюду виделось оживление. Дворцовые холопы скребли и чистили коней, сбрую, обметали пыль в кладовых и амбарах, готовя их к приему сокровищ, которые вез князь с Востока. Из кухни выбегали стряхнуть с себя жар. Гриди с огромными вазами и блюдами то и дело перебегали двор, из кухни в гридницу, перекликаясь, проверяя распоряжения княгини и на ходу уминая за обе щеки сыр, зайчатину или вареные овощи. На дворе расставлялись столы для простого народа с говядиной; бочки меда, пива, браги; плетухи ивовые с калеными орехами, с сочными, с лепешками.

Княгиня Ольга, несмотря на свои шестьдесят пять лет, еще держалась прямо, ступала твердо, опираясь на костыль и даже более проворно, чем это позволяли лета. События волновали ее, она не могла сидеть на месте. Два года она не видела непоседливого сына, которого любила страстно, но с которым должна была вести внутреннюю, никому не зримую, изнуряющую борьбу, пробуя повернуть его интересы в сторону земских дел и христианской веры. Воинственность сына пугала ее, грандиозные его замыслы устрашали. Все управление Киевской Русью лежало на ее плечах, а это становилось уже непосильным делом. Она не была уверена в благополучном возвращении сына с Востока, и когда гонец прибыл утром и сообщил, что князь едет с большой добычей домой, она отслужила молебен в дворцовой часовне, помещавшейся под теремом, долго и горячо молилась и теперь была в радости, которую омрачала все же тайная тревога: что будет делать князь по возвращении из похода? Угломонится ли, вернется ли к семье, к очагу, к внутреннему устройству земли, которое легло на плечи старухи матери? Прекратится ли эта, подтачивающая ее силы, война с сыном, умрет ли мать спокойно, похороненная наследником-христианином? Где-то в душе прятался робкий страх за его судьбу. Настороженная ко всякого рода отдаленным походам от неудач своего мужа Игоря, ходившего

на берега Хазарского моря и оставившего там дружину, пытавшегося вынудить Царьград к выгодным торговым соглашениям и опять оставившего в море свою дружину и, наконец, растерзанного древлянами, Ольга видела, что сын из этого не извлек урока...

Она пошла на чердак терема и через слуховое окно стала смотреть на приближающееся к Киеву войско Святослава. По одному только виду гарцующих всадников и бодрых пеших воинов, по количеству поклажи на повозках можно было заключить, что сын возвращается с победой. Ольга перекрестилась и сошла вниз. Она ждала сына с особой торжественностью. Все слуги, гриди и сама она были празднично одеты. На княгине – шелковое черное покрывало, завязанное под подбородком. Из-под него виднелось верхнее платье византийского шитья – царственного пурпурного цвета, с широкими рукавами, с широкой желтой полосой на подоле. Платье перехвачено шелковым поясом. Остроносые сафьяновые башмачки наведены золотом. Так она нарядилась только для встречи сына. Это было сделано в подражание византийским императрицам.

Летом 966 года князь закончил двухлетний поход.

Из Киева поплыл Святослав по Десне на Оку через земли северянского племени, которое уже было под рукою князя. Он заявился к вятичам и спросил их:

– Кому дань даете?

– Хазарам дань даем по шлягу с рыла...

– Будете под моей рукой, – сказал он и поплыл дальше – на Каму.

На Каме он полонил город Булгар, спустился вниз – полонил буртасов, спустился по Волге еще ниже – и разрушил Хазарскую державу. Он пошел дальше в горы – между двух морей, завоевал ясов и косогов. Хазары, с которыми воевал еще Олег и которые брали до него дань и с полян и с северян, – теперь были обессилены. Волга стала русской рекой, а все восточные славяне объединены были под одну княжескую руку. С тех пор и беглые русские люди, оседавшие на вольных землях по обеим сторонам Керченского пролива (их звали бродниками), были присоединены Святославом к Киевской земле, а сама местность стала называться Тмутараканская Русь. Русские земли очутились впритык с владениями греков в Крыму.

Ольга увидела, как улицы столицы стали заполняться отрядами дружины и воинов. Секиры их и шлемы отражали блеск солнца. Бесконечно тянулись повозки, нагруженные тюками, их везли степные кони и тяжелые волы. Верблюды, колыхаясь, несли на спинах огромные узлы с добычей. Повозок и верблюдов было такое множество, что Ольга не верила собственным глазам. Военачальники и часть дружины, приближенные к князю, ехали на конях, богато украшенных восточной сбруей и коврами. Впереди на белом коне ехал сын ее – князь Святослав, которому не исполнилось еще и двадцати пяти лет, но который совершал уже дальние походы, выигрывал все битвы и который проявлял такую воинственность, что мать не знала – радоваться тому или горевать.

Киевляне встречали войско восторженными криками, и город превратился в огромное сборище, в котором все двигалось, шумело и дышало сознанием счастливо завершенного похода, в исходе которого многие сомневались, припоминая горестную гибель Игоревой дружины на берегах Итиля. За князем следовали знатные пленники: визири багдадского халифа, наместники Хазарского кагана, их жены и дети, в пышных цветных восточных одеждах. Затем шли со своими гаремами и боярами царьки Волжской Болгарии в плетеных кольцах, в бронзовых браслетах на руках и ногах... И когда часть этой процессии подошла к воротам княжеского дворца и Святослав сошел с коня, молодой, ловкий, сильный, бодрый, загорелый, со счастливым сиянием голубых приветливых глаз, – Ольга кинулась к нему и повисла на шее. Князь, который считал, что суровому воину не пристали слезы и шумные изъяснения чувств на глазах у посторонних, спрятался от дружины, расцеловал свою мать и растрогался.

– У этих чудаков, которые так пышно одеваются, все-таки нет бань, – сказал он, отстегивая с бедра обоюдоострый широкий меч с тяжелой ручкой и отдавая его гриде. – Нам бы, матушка, помыться. Два года не мылись. Почернели, как сарацины в пустыне.

– Баня готова, – сказала Ольга. – Иди помойся вволю. Вон Малуша тебя и помоем... Видишь, вся зарделась от счастья. Соскучилась бабынька.

Малуша была любечанка, пленница князя такой красоты, что он взял ее в наложницы. Ольга сделала ее своей ключницей, а брата ее Добрыню – конюхом при княжеском дворе. Малуша, полногрудая, полнолицая, с синими глазами, в кокошнике с золотыми подвесками, подаренными князем, вся налитая ожиданием, держала за руку сына Владимира, прижитого от князя. Святослав имел несколько жен, которых приискал ему мать из самых знатных семей Киева, но любил он только Малушу.

Жены, пышно и броско разодетые, стояли, выстроившись в ряд. Но Святослав как барс метнулся мимо них к Малуше, стоящей в стороне с сыном. Он подхватил ее как пушинку на одну руку, сына на другую и понес их в горницу (миловаться с женщинами и нежничать с детьми на виду у всех он считал зазорным для витязя).

Ольга нахмурилась. И многоженство сына, и то, что он наложницу любит и не скрывает этого, и то, что так холоден с женами, которых она теперь считала, как христианка, «законными», – все это было для нее непереносно. Но она превозмогла себя и приветливо поклонилась военачальникам князя, искренне радуясь, что все они вернулись целы. Они отвечали ей глубоким поклоном.

– Ты, матушка княгиня, точно моложе стала да краше. Тебя и года не берут, – сказал Свенельд.

– Полно, старый греховодник, – ответила княгиня на вид сурово, а тон был приятный. – стыдно старухе говорить такие речи, а христианке их выслушивать... Мне только о душе заботиться теперь да Бога молить. Прибереги сладкие речи для жен, которые здесь два года без мужней ласки томились.

Ольга стала следить, как гриди, слуги и дворцовые холопы разгружали повозки и верблюдов от восточного скарба, а князь с приближенными пошел в баню. Амбары княжеского двора заполнялись трофейным оружием, багдадскими и хорезмийскими изделиями, конской сбруей с серебряными бляхами, тюками тканей, посудой: урнами, вазами из благородных материалов, винами в бурдюках, армянскими коврами, славящимися во всем восточном мире. Серебро в корчагах, золото в бурдюках.

И Ольге показалось, что теперь есть чем одарить дружину и оплатить расходы по княжескому терему и войску. Князь сумеет заняться мирными делами спокойно.

Общее довольство захватывало и прислугу. Везде слышались шутки, веселые вскрики. В глубине двора князь с березовым веником в руке выбегал из бани красный как рак и на вольном воздухе гридь обливал его из ушата колодезной водой. Он радостно вскрикивал, встряхивался и убегал в баню. Из открытой двери вываливались мощные тела дружинников, разгоряченных, в пару. Окачиваясь водой, они кричали:

– Запарил нас, князь, до смерти... Терпенья нету... Тяжелее войны тот искус...

После бани приближенные князя расселись в гриднице на широких дубовых скамьях, за длинными столами, уставленными яствами. По стенам развешаны княжеские доспехи, боевое и охотничье оружие иноземной работы. Тяжелые мечи с дамасскими клинками, островерхие латинские шеломы, кольчуги из мелких железных колечек, широкие щиты, окованные железом, украшенные серебром, узорчатые колчаны, тугие луки, длинные копья с красными древками. Святослав считал, что лучшим украшением всякого жилья, даже опочивальни, является только оружие.

Князь наполнил греческим вином большой турий рог, оправленный в чистое серебро с резьбой и чернью гладкой и тонкой работы, узкий конец рога был отделан в виде орлиной

головки. Оделил вином всех по очереди. Это был знак его крепкой и кровной дружбы с дружиной.

– За Русь. Пусть не сгинет вовеки.

Подняли чаши. Гул. Гам. Ликованье.

– За дружину князя.

– За отвагу.

Все принялись есть и пить, были голодны. Окорока, жареные гуси, бараньи бока, дичь, овощи – все быстро исчезало, но еда тут же пополнялась, как и братины с медом и брагой, сосуды с пивом и заморским вином. И вскоре начались воспоминания о походе, который был исполнен всяких превратностей и невзгод. Было что вспомнить. Люди продирались через леса вятичей, вязли в болотах, ночевали под небом целые месяцы подряд, засыпали под звон комаров и вой волков, сражались на улицах Великих Булгар и Итиля, боролись с бурями на Хвалынском море, скакали по долинам среди виноградников во владениях халифата, прятались в горах, истощались, голодали, пировали, но везде разили, сокрушали, опрокидывали врага. Слава о русском походе прокатилась до конца земли на Востоке и по всем державам на Западе. Особенно были рады молодые военачальники, которые были в походах впервые и у которых жажда подвига и побед вызывалась не соображениями государственной пользы и мудрости, а избытком сил и неукротимой молодости. Эти молодые львята – ровесники князя, его обожавшие за удаль, за силу, за ум, за преданность воинскому делу, вновь переживали за столом сладкие восторги преодоленных опасностей, упоение битвой, счастье неожиданных приключений. И только старый Свенельд гладил плешистую голову шелковым рукавом, отирал пот, кряхтел от жара и упорно молчал – этот всеми любимый воевода, самый первый после князя военачальник из варягов, бывший воеводою еще при отце Святослава Игоре, участник всех его походов, бесстрашию которого завидовал каждый из дружинников.

– Что ты нахмурился, воевода? – спросил его князь. – Или похвальба молодых тебе прискучила, или они безрассудны, или сам поход не очень тебе мил?

– И похвальба молодцов забавна, князь, и поход мне по душе. Но важнее для людей, что пашня ими уже вспахана, хлеб засеян и уборка жита неминуема.

Святослав нахмурился, а все притихли.

– Темны твои речи, Свенельд. Уж не хочешь ли ты сказать, что походы на Восток – легкая прогулка не сумевших все-таки вспахать пашню?..

– Да, князь. Это так.

– Значит, ты считаешь наши походы бессмысленными и ничтожными?

– В них есть смысл, князь. Мы сокрушили наших соседей и растянули границы наших земель до морей Хвалынского на Востоке, Русского – на Юге. Река Итиль целиком принадлежит нам. Но такой большой земле, как Русь, нужно соседиться с богатыми городами, где можно много сбыть, чем богата наша земля, да многое и купить. Итиль да Булгры сами славны тем же товаром: мехами, воском и медом, сами живут за счет приезжих славянских купцов. До Багдада и Бухары далековато нам, неудобно таскаться. Поэтому походы эти дают нам славу и победу, но они не указали нам того, куда мы и наши купцы будем девать продукты своей страны, где мы купим ткани, золотую посуду, красивое оружие, с кем мы будем дружиться, чтобы сказать: мы знатным, да умным, да богатым соседом красны... А такой сосед есть, да он спиной к нам сидит... Он за морем...

– Царьград, – вздохнул шумно купец с крестом на шее, поставщик мехов, и оглянулся. – Царьград во сне приснится, так не сразу после успокоишься. Чудеса и изобилие великое. Как в самой сладкой сказке. Право.

Святослав неожиданно для всех подошел, обнял своего воеводу, расцеловал его.

– Умнее ты самого князя, старик. Мои мысли угадываешь. Русь должна стоять на самых торговых дорогах мира... Дружбу да торг вести с самым сильным да просвещенным соседом... Коли не хочет дружить, так сломить его силой...

Купец с крестом на шее даже взвизгнул:

– Царьград – мать городов, царица мира, Господи Иисусе. Вот где торговля, вот где люди... А София, о!.. В землянках мы живем супротив царьградских вельмож... Оглянешься на себя – стыдно, чистое зверье...

Тогда начался такой гвалт, что ничего нельзя было разобрать. Одни припоминали походы Аскольда: как в Царьграде поколотили русских купцов и порушили договор; тогда в Царьград из селений греки принесли страшное известие: плывут ладьи народа Руси. Смятение и ужас водворилось в столице. Бурной мрачной ночью русские начали насыпать вал у стен города. Патриарх Фотий плакал с народом в Софийском соборе. Перепуганный царь Михаил III оставил поход на сарацин и вернулся в столицу. Русские добились нужных им торговых договоров и заставили уважать себя, а некоторые так подружились с греками, что приняли христианство. Другие тут, помнившие еще поход Олега, всячески восхваляли его силу и мудрость, увенчанные договором 911 года. Тогда, дескать, Олег напугал греков еще больше, чем Аскольд, и они затворили ворота и заперли городскую гавань. Олег выволок лодки на берег, поставил их на колеса, приделал паруса и при попутном ветре двинулся к стенам столицы. Перепуганные греки дали ему огромную дань и заключили договор, о котором и по сей день вспоминают русские. Купцов и послов, бывало, принимали с почетом, и ели они сколько хотели и бесплатно не жились в банях и торговали беспошлинно, а отъезжая на Русь, получали в дорогу съестное вволю, якоря, канаты, паруса...

И то, что точно по сговору, никто не говорил о разладе с греками при отце князя Игоре, испортившем все дело своим неудачным походом, и умалчивали об унижительной поездке матери, которая тоже ничего не добилась от греков, надеясь на мирное решение вопроса, – это заметил Святослав и зачел себе укором. Внутреннее решение, которое он хранил про себя, пуще созревало в нем.

Купец с крестом на шее, возбужденный общей горячкой, всех перекричал:

– Князь, походы на Восток – полдела. Нам Царьград нужнее. А там – мы стеснены. Как мышшь в коробе. Что это? Приезжий к ним – грамоту кажи, без грамоты – готовься в подземелье. Закупить греческих тканей сколько хочешь – не смей! Не успел расторговаться, зазимовал – гонят домой в шею. А поедешь морем, застанет непогода – перезимовать на берегу Днепра у моря не смей, это земля Корсуньская. Ловят рыбу в Днепре – и того не воспрепятствуй... Прижали нас, как ужа вилами, стыд, срам... Податься некуда... На Дунае – свои запреты... И бродим мы, как псы ошпаренные, князь, помани мое слово... Тьфу! Надо бога менять, греческий бог умнее...

– И бога менять, и грамоты понимать, и строгие законы вводить, – поддакнули купцу.

– Перун не оставлял нас и не оставляет... Повешенный бог нам не нужен, – сказал, как отрубил, Свенельд.

– Богатые да разумные народы все христианами стали, – возразил купец с крестом на шее, – и мудрой нашей княгини никому не перемудрить...

– С мечом любого бога добудешь, любое богатство будет у твоих ног, – возразил Свенельд, – слава и почет мечу. Любо нам на Русском море плавать, пора и германцев устроить, и греков укротить...

Некоторые упорно молчали. Молчал и Добрыня, воспитатель малолетнего Владимира, красавец, богатырь, с роскошной русой бородой и васьиковыми глазами. Он недавно принял христианство по совету Ольги и был скромн и застенчив, что так не вязалось ни с его молодостью, ни с его мужественной фигурой. Святослав не любил Добрыню. Тот не принимал участия в походах князя, не одобрял их, был первой рукой у Ольги по части земских дел.

– Слышишь, Добрыня, чего хочет дружина? Согласен ли ты с дружиной? – строго спросил князь.

– Подумать надо, – ответил тихо Добрыня. – Я знаю силу русского воина, удар его булатного меча. Но все ли разрешает меч? Есть сила сильнее меча. Это – новая вера. Новый закон. Или, как говорил мне один ученый араб, – «сила помышления». Что оно значит, я и сам не вполне понимаю. Только вижу, греки – не хазары, не буртасы, не ясы и косоги. Греки думают о том, что нам неизвестно. Они воюют такими средствами, о которых мы только слышали, но которыми не владеем. На них дивится весь мир. Стены Царьграда устрашают всех, кто подступает к ним. С силой греческого воина мы справимся, но силу греческого помышления мы не знаем... Надо приглядеться к ним. Перенять кое-что от них и других умудренных грамотою народов: хорезмийцев, болгар и арабов...

– Матушкина закваска, – проворчал Святослав. – Совсем ты, Добрыня, обабился. Приучился воевать с безоружными киевлянами... Куда как легче... Особенно с ядреными бабами...

Дружина заливисто засмеялась: всем было известно, как за ним боярыни гонялись. Послышались голоса:

– Бабий угодник!

Добрыня покраснел:

– Негоже, князь. Я христианин, живу с одной, по закону, а не по-скотски, как бугай в стаде.

– Трисишь, Добрыня, – дразнила дружина.

– Вы меня знаете, не будем притворяться. Одно тревожит и беспокоит меня, – сможем ли мы сейчас выиграть войну с греками. Легко умереть за Русь, за князя, за честь. Труднее выиграть дело.

– Вот мы слушаем старого Свенельда, моего первого воеводу, – произнес князь.

Свенельд сказал:

– Я долго живу и много видел людей, исходил земель, много слышал языков. Я исколот, и мне столько лет, что я их уже скрываю, чтобы не решили, что я слишком стар для воеводы. Много встречал я храбрых, сильных, ловких и красивых, простых воинов и правителей, земских людей и ученых книжников разных стран и так скажу: красиво, честно и громко умереть со славой легче в тысячу раз, чем выиграть у врага маленькую битву. Жернов размалывает зерно еле слышно, пустая бочка гремит. Первый делает необходимое дело, вторая только назойливо тревожит наши умы. Подождемте с войной, уподобимся жерновам, могущим неслышно, но верно размалывать зерна жита. Княгиня, матушка Ольга, укрепила нашу землю больше, чем громкая слава нашего меча... Это она вырастила и дала нам таких крепких и храбрых воинов. Это она навела порядок в стране, что процветают ремесла, не запущена пашня и торговля... Мирно трудятся люди и снабжают дружину питанием и оружием. Добрыня молод, но сметлив. Государство сильно не только мечом, но и оралом... Подожди, князь, горячиться, укрепи землю, а воевать мы всегда сумеем...

Все насупились и молчали. Князь хмурился. Опять попрекают его домоседством Ольги. Воевода всегда умел перечесть в самом неподходящем месте и в самое неподходящее время, и притом открыто и прямо. За первое князь не любил его, но уважал, за второе обожал и считал бесценным витязем. И в самом деле, Свенельд, всю жизнь лукавя с неприятелем, не знал, что значит лукавить с князем.

– Конечно, я поведу вас в поход при первом желании князя, – продолжал Свенельд, – и заставлю вас забыть все то, что я вам здесь сказал. Коли отдан приказ – воин должен знать только одно: приказ этот выполнить или умереть со славой. Но опять скажу – умереть легче, для этого не требуется ни ума, ни особой доблести.

Воевода смолк, и тогда вновь начались споры, и никто не был согласен со Свенельдом. Молодая дружина кричала спьяна дерзко и вызывающе:

- Отвага мед пьет и кандалы трет!
- Бояться волков – быть без грибов!

Тут и Свенельд смолк. Молодежь подозревала его в робости, а честь для старика была дороже жизни, и он больше не возражал... Только от князя не укрылось, что ни Добрыня, прислушивающийся пристально к спору, ни Свенельд больше не перечили молодой дружине.

В соседней зале сидели степенные гости: печенежский князь Куря со свитой и наместник византийского императора в Херсонесе – Калокир.

Обрюзгший, плешивый, в узорчатом атласном халате, Куря весь обливался потом и полой вытирал то и дело лицо и лысину, не переставая жевать жирную конину. Он пыхтел, сопел, кричал, молча пил греческое вино, и все его приближенные, как и полагалось кочевникам, молча, медленно и беспрерывно ели, пили и утирались.

- Доброго здоровья, дорогие гости, – сказал Святослав. – Всем ли довольны?

И сам Куря, и его свита вдруг начали усиленно рыгать и рыгали громко и долго. Это означало у них крайнюю степень сытости и высокую степень довольства. Куря стал смачно облизывать свои сальные и волосатые руки. Святослав выбрал из котла самую увесистую конскую ногу, поглотил ее и передал Куре. Конская нога пошла по кругу. Это был знак принятой дружбы. Святослав знал нравы степняков. Он потрепал Курю по загривку, тот скорчил приветливое лицо... и что-то промычал. Святослав вывел печенежских гостей во двор, велел принести тюк ковров и разостлал их перед Курей:

- Багдадские...

Глаза Кури заблестели, заискивающая улыбка застыла на лице.

- Все тебе, – сказал Святослав. – Соседи. По-соседски и жить будем...

Куря кланялся, держа руку у сердца, и не спускал глаз с удивительных восточных ковров. Его свита замерла от зависти. Глаза печенегов расширились, в них кричали мольба и подобие страсти...

Святослав сказал:

– Им тоже будут подарки. Эй! Выносите конскую сбрую, седла, сабли и луки... Сваливайте в кучу подле славных печенежских послов... Когда куча подарков превысит их рост, тогда достаточно.

Святослав знал, что делал: степняки считали сбрую и оружие самыми драгоценными дарами.

Послы утонули в кучах подарков. Поверх кучи торчали только макушки их бритых голов.

Потом Святослав велел все это погрузить на верблюдов, которых тоже в придачу отдал гостям.

Печенеги земно кланялись, умильно улыбались, щелкали языками. Радости их не было предела.

– Дать им еще сотню рабынь! – приказал князь, и к печенегам подогнали восточных женщин, захваченных в плен в Хазарии. Все они были нарядно одеты и украшены, происходили из знатных родов.

Печенеги загикали и шумно стали делить их между собой.

Потом чужеземные послы и русские дружинники пошли продолжать пир. Святослава подхватил под руку корсунский наместник Калокир.

– Этот «сосед», Куря, – сказал, смеясь, наместник, – сунет тебе нож в спину, не поморщится, лишь бы выгодно было. Я его знаю хорошо...

– Кто его не знает, – Святослав присел подле наместника. – С волками жить, по-волчьи выть... Поговорим о другом. Наслышался я о хваленых победах твоего царя Никифора, – сказал Святослав. – Храбрый и бесстрашный воин. Одно нехорошо – захватил царский трон,

обманул державных и законных наследников... Мои служилые люди доносили мне, что многие в столице недовольны царем... Воин должен любить свое дело и не посягать на законную власть...

– Бог тому судья, – сказал Калокир. – Бог да царь всегда правы. За него промысел Божий, смысл которого нам – обыкновенным смертным – недостижим...

Он засмеялся. Святослав сказал на ухо:

– Наконец-то наши владения сдвинулись. Залог дальнейшего успеха.

– Ах, князь. Я давно мечтал об этом. И когда ты брал Саркел, не только мысли мои, но и дела об этом свидетельствовали.

– Всегда эти услуги твои буду помнить.

Они сели в соседней комнате, одал от других.

– То, что я тебе сказал, князь, – истинная правда. Из всех друзей наиболее верный вот этот – что перед тобой, с которым ты побратался. И буду побратимству вечно верен. Всё мною продумано, всё брошено на чашу весов...

– Ах, братан... Эта мысль мне самому не дает покою... И не здесь об этом говорить... Недаром же я обещал тебе эту встречу. Ты отправляйся домой и съезди в Царьград. Сейчас нам знать надо, что думают при дворе и народ на улицах... Какова казна у царя и продолжается ли дружба Никифора с болгарам... Я слышал, большие заботы ему доставляют арабы...

– Очень большие... Я все это узнаю... Никифор пока верит мне... И, может быть, я добьюсь у него приема...

– Держи ухо остро.

– Учи, князь, посла.

Оба рассмеялись.

– Скоро я отправлюсь в полюдье, – сказал князь, – буду у моей наложницы Малуши в вотчине Будутино. Вернешься из Царьграда, поохотимся на зубров, на медведей, на лосей... Кстати обо всем и договоримся... Очень меня занимают все эти греческие передраги... А особенно тайные помыслы царя. Купцы мои жалуются, что вольности им в Царьграде нету... Следят за каждым их шагом... Не уважают их чиновники...

– Буйные и невоспитанные они, твои купцы, князь, сам знаешь... Но вообще-то они правы, чиновники наши – псы.

– Мы, русские, воспитаны по-своему... Принимай нас какие мы есть...

– Да уж это так. Победителей не судят. В Царьграде не помышляют о ссоре с Русью, из которой идет мед, меха и рабы.

– Все складывается к лучшему. Но будь осторожным.

– О, князь. Кого ты учишь?

Князь позвал гусельников, гудошников, скоморохов... с домбрами, сопелками, волынками, зурнами, бубнами. И началось превеселое комедиантство, до которого и Святослав и его дружина были большие охотники... Только христиане морщились и плевались в сторону скоморохов, которые при Ольге и показываться не смели на княжеском дворе...

К ночи замолкли крики, гусли, бубны, прекратились песни, пляски. Скоморохи и дудочники, упившись, с челядью на княжеском дворе, лежали возле опорожненных бочек в обнимку с гридями. Да и всякий лежал там, где повалил его хмель, двор княжеский был усеян недвижимыми телами, они валялись на улицах Киева, на дорогах и тропах. «Веселие Руси есть пити, нельзя без того быти...»

II. Никифор Фока

Величие и силу Болгарии создал отец царствующего Петра, Симеон. Он поставил гордую Романию на колени и даже принудил платить дань. Это произошло следующим образом. Симеон юность свою провел в Византии. И там изощрил свой ум в философских, богословских и литературных познаниях. Он учился в знаменитой Магнаврской школе. Образованность, особенно тогда ценившаяся, захватила и его на всю жизнь. Он сохранил страсть к чтению до гробовой доски. Палаты его были сплошь заполнены книгами. Он стал достойным современником Константина Багрянородного, ибо кроме государственного ума и необыкновенной энергии, высших духовных интересов соединял в себе редкие моральные качества, ненавидя несправедливость и борясь с нею, ценя в людях отрешенность от корыстных и низменных интересов и целей. Со всем этим он имел дар воинственности и поставил себе задачу воплотить в жизнь болгар «византийскую идею».

Византия в то время была первым по богатству и культуре государством в Европе, и Симеон считал Византию для себя идеалом. Овладеть ромейским престолом было его неотступной мечтой. Этой мечте, которой не суждено было сбыться, он принес огромные жертвы. Зато отстоял самостоятельность национальной церкви, неизмеримо много сделал для славянского духовного развития; это при нем возникла первая славянская литература в лице незабвенных Кирилла и Мефодия.

Долго и упорно боролся Симеон с Византией. Он нанес ей, наконец, решительное поражение и обложил греков ежегодной данью. Двадцать лет платили надменные ромеи эту оскорбительную дань. Двадцать лет держал Симеон свой народ в общении с образованными ромеями, именно на эти годы падают успехи христианского просвещения в Болгарии и ее литературного развития. Но когда греки сделали попытку сбросить с себя иго, Симеон придрался к этому и решил стать царем обоих государств, предварительно слив их в одно. Он забрал близлежащие к Болгарии византийские области и стремительно подступил к самому Константинополю. Кажется, Византии пришел конец. Чтобы умиловить грозного царя, ромеи предложили шестидесятилетнему Симеону в жены юную девушку – царевну, дочь императора Романа Лакапина.

Но Симеон стоит на своем, он хочет быть василевсом, не меньше. Только благодаря своей исключительно изощренной дипломатии ромеи выпутываются из беды. Они привлекают на свою сторону сербов и хорватов, раздают их князьям высокие титулы, острова и города, организуют в тылу у Симеона восстания. Отвлеченный этим, он вынужден был уйти наконец из-под стен Константинополя. Усмирив сербов, он стал готовиться к борьбе с Византией вновь, но умер во время этих приготовлений.

Ромеи продолжали платить болгарам дань и при преемнике Симеона Петре. Петр был полная противоположность своему неутомимому отцу, лишенным инициативы и политических интересов, энергии и мужества. Словно другая кровь текла в его жилах. А ромеи еще больше постарались обезопасить себя и дали Петру в жену свою царевну. Между двумя державами наступил сорокалетний мир и политическая близость, какой раньше никогда не бывало. Дворы любезно обменивались визитами и посольствами. Болгары всегда услужливо предупреждали ромеев о появлении в море русского флота, посылали в Византию, когда надо было, вспомогательные войска. Сановники Болгарии всецело подчинялись влиянию ромейских привычек и свыклись с греческими порядками даже у себя дома. Только в народе пышность и роскошь бояр и церкви, ложившиеся на плечи плебса, вызывали неискоренимую ненависть к ромеям.

В конце концов новый василевс ромеев, воинственный и несговорчивый Никифор Фока, решил сбросить с себя все обязательства, обусловленные тяжелым договором Симеона.

Никифор Фока из военачальника вдруг превратился в императора, что случалось в Византии нередко. Перед этим он успешно воевал четыре года с арабами, которые постоянными набегами изнуряли империю. Он очистил Малую Азию от врагов и въехал в столицу победителем, утвердившим славу ромейского оружия.

Ведь даже Болгарии гордые ромеи должны были платить дань до Никифора.

Никифор Фока показал себя на войне замечательным полководцем. Теперь о нем в Константинополе рассказывали чудеса. Говорили, что конь, изъязвленный под ним многими стрелами, пал на землю бездыханным, но Никифор сел на другого и продолжал теснить неприятеля. Теперь молва безмерно возвеличивала его, как это всегда бывает с удачниками и победителями. О нем, может быть и не без оснований, рассказывали, что он не пристрастен даже к житейским удовольствиям: к вину, к женщинам, к еде и неге и отличался отменной силой духа и крепостью характера. Будто при этом он так могуч, что, ударив в одного воина копьем, пронзил его насквозь, проколов обе стороны стальной брони. И передавали много такого, чем всегда обрастает судьба героя. Он въехал в Константинополь через Золотые ворота на белом коне, украшенном багряными коврами. Эпарх иллюминировал город с торжественной пышностью. Улицы были вычищены, украшены зеленью и свежими цветами. Весь путь Никифора был устлан лаврами, розмаринами, миртом, розами, разноцветными тканями. А на долине за Золотыми воротами были раскинуты шатры с пленниками и расставлена для обозрения военная добыча. В нарядные залы дворца свезли все, что было наиболее драгоценного у ростовщиков, ювелиров и в церквях, чтобы знать дивилась богатству державы. Уже живописцы спешно приступили к писанию фресок, возвеличивающих подвиги легендарного василевса. Поэты славали гимны в честь неслыханных побед Никифора и призывали художников к творческому подвижничеству. «Не наводи красками изображение владыки, – писал один из них, – а смешай алмаз, золото, серебро, камедь, медь и железо и вылепи из этой массы величественную статую. Сердце его сделай из золота, бюст из блестящего серебра, руки из меди, мышцы из адаманта, ноги из камня, голени же и спину и голову из железа».

Во дворце василевс справлял веселый и шумный пир с военачальниками и свитой с неслыханной щедростью. И как раз в это время явились послы болгарского царя Петра, прозванного Кротким, за данью, которую греки платили со времен славного Симеона.

Никифор приказал ввести послов, которые имели гордый вид покорителей. Появление их было встречено всеобщим негодованием. Царь, хвативший столько лести, громко прославленный и уже свыкшийся с мыслью, что никого на свете не было его могущественнее, испытал приступ гнева, но усилием твердой воли принудил себя к внешнему спокойствию. Только нахмуренные брови, да складка над переносицей, да зловещий блеск глаз выдавали его скрытую ярость. И никто на этот раз не пригласил послов к столу. Главный посол, как это сложилось уже на протяжении последних сорока лет, когда болгары были принимаемы очень любезно, с подчеркнутым почетом, и занимали самые первые места за столом, и на этот раз начал с произнесения формул приветствия по выработанному этикету:

– В добром ли здравии василевс Романии, превознесенный Господом, духовный сын болгарского государя, Богом над ним поставленного? – так начал посол, обращаясь к мрачно трясущемуся от гнева Никифору. – В добром ли здравии василиса, госпожа наша? В добром ли здравии кесари – сыновья великого и могущественного василевса? Здоров ли святейший патриарх вселенский? Здоровы ли магистры? Здравствует ли Святейший синод? Здравствуют ли логофеты?

В ответ на это раньше отвечал греческий логофет:

– В добром ли здравии духовный сын благочестивейшего василевса, государь Болгарии милостию Божьей? В добром ли здоровье супруга его, Богом любимая? В добром ли здоровье сыновья государя Болгарии милостью Божьей и другие чада его? Здравствуют ли шесть великих бояр? Здравствует ли весь народ болгарский?

И потом должны были последовать угощения, сладкозвучные любезности. Но на этот раз, как только главный посол успел закончить свое приветствие, ожидая такового же от логофета империи, Никифор, дрожа от злобы, схватил со стола чашу с вином, швырнул послам под ноги, вином обрызгал их нарядные одежды и закричал зычно, дав волю своему необузданному гневу:

– Неужели уж так несчастны ромеи, что, победив всех врагов, должны теперь, подобно невольникам, платить дань скифам, этому презренному и нищему народу?!

Вздымая руки и обращаясь к Богу, он как бы спрашивал:

– Есть ли какое-либо объяснение столь дерзкой выходке царя Петра?! Этого труса и ублюдка на троне?!

Он сорвался с места и несколько раз подряд нанес пощечины главному послу.

– Вот тебе! Пошел вон, свинья! – завопил василевс и неистово затопал. – Ступай к своему дохлому государю и передай этому кожееду, что василевс Константинополя сам скоро пришлет ему такой подарок, от которого у него замрет язык и навсегда отпадет охота вспоминать о какой-либо дани. И научи своего царя, с каким почтением надо относиться к самодержцу Великой Романии... негодный раб.... собачий сын...

Он произнес еще несколько более сильных выражений, которые виртуозно пускал в ход на войне, командуя солдатами.

III. Миссия Калокира

В столичной гавани Золотой Рог к пристани причалило судно. Из него вышел знатный красавец ромей довольно молодых лет и жадно огляделся кругом. Это был херсонесский наместник василевса Калокир. Он стоял и с удовольствием пожирал глазами прибрежные монастыри, белеющие в садах, дворцы константинопольских вельмож среди платанов и кедров и не мог оторвать глаз от Золотого Рога. Там, где пролив, называемый Босфором, сливает воды с Мраморным морем, он отделяет от себя узкий залив, еще в древности получивший название Рога, так как, загибаясь, он и в самом деле напоминает бычий рог. Угол земли, который омывается с одной стороны Мраморным морем, а с другой стороны Золотым Рогом и упирается вершиною в пролив Босфор, это и есть то место, на котором раскинулась столица Восточной Римской империи – прославленный Константинополь.

Город раскинулся на семи холмах. Сама оконечность полуострова – этот холм и есть главная часть города. Здесь находятся Священные палаты василевса, чудный храм Святой Софии, ипподром, разного назначения великолепные постройки – сады, церкви, площади.

Знатный ромей не отводил глаз от холмов, разодетых розами, гелиотропами, кипарисами, ивами и дубами. Скопище галерей, террас, портиков спускалось к морю среди всей этой буйной зелени. Калокир знал, что овальные сады были наполнены статуями греческих и римских мастеров. Воображение его ширилось и горячилось. Золотой крест на величественном куполе собора Святой Софии горел как жар.

Калокир пошел вдоль берега, не в силах оторваться от столь очаровательной картины. Нежные, прозрачные волны тихо ласкались к берегам. Бесшумно скользили по воде суда, сперва они показывались вершинами мачт, потом вздувшимися парусами.

Неслась по бухте протяжная матросская песня. Рыбаки в маленьких, пляшущих на волнах челноках тащили натужно раскинутые сети. Из города через стены перекачивались глухие звуки. О, как много они говорили его воображению, уму и сердцу. Этот знатный ромей провел здесь свою молодость, изучал науки и философию в высшей школе столицы. Потом он назначен был управлять Херсонесской провинцией, охранять ее от беспокойных печенегов, хитрить с хазарскими каганами, опасливо следить за русскими, основавшими под боком колонию Тмутаракань, и особенно тревожиться за устье Днепра и самого Херсонеса, на который завистливо поглядывали киевские князья.

Он остро почувствовал, этот правитель Тавриды, что здесь он только заурядный чиновник, который должен с завистью взирать на пышные дворцы столичных счастливых царедворцев и шарахаться в сторону, давая дорогу их повозкам. Но гордость его была даже несравнима с гонором самого целого синклита. Затаенная мечта быть среди самых сильных и влиятельных сановников в Священных палатах всегда ввергала его в сладчайший трепет. Обольщения столицы казались настолько восхитительными, что эта мысль – вот опять придется возвращаться к себе в Херсонес с его многоязычной серой толпой и докучливой сутолокой – вызывала в нем тошноту. Нет! Лучше умереть, чем влачить жалкое существование абсолютно зависимого от столичных вельмож провинциального наместника, которым помыкают столичные чиновники, зачастую невежественные и глупые, к которым без подачки не приезжай и без лести у которых ничего не добьешься. Он погрозил пальцем самому себе и произнес:

– Опасность в промедлении!¹

И зашагал к главному форуму города – Августеону.

По улицам не переставая текла толпа: скуластые мадьяры, черноволосые болгары, белолицые и голубоглазые славяне шагали за колесницами, везомыми быками; нарядные сановники

¹ Тит Ливий.

проезжали в богатых повозках, то и дело попадались купцы-иноземцы. Лениво переступали перегруженные скарбом ослики. Роскошно убранная изнеженная патрикия выглядела из-за занавески, ее несли рабы в прекрасном паланкине. Калокир успел разглядеть влажный блеск ее карих глаз и драгоценное украшение на груди. Двигались шумной толпой упругие и стройные гречанки в цветных одеждах. Тонкие задорные сицилианки в красных плащах поверх развевающихся туник быстро проشمывали мимо наместника, ни разу не задерживая на нем своего взгляда.

Эта столица снилась Калокиру во сне и не давала ему покоя. Всё, решительно всё казалось лучше, чем дома. И зубчатые стены обителей, и обширные плодовые сады, и черный и красный мрамор ворот, и гордые храмы, и прелестные часовни, и сказочные дворцы, и даже собаки, греющиеся на солнце, – все представлялось праздничным, великолепным. Звуки труб и рогов, призывающие молиться, заставили сильнее биться его сердце. Наконец он достиг дворца и доложил, что по важному делу просит приема у паракимонена Василия.

Слуга ушел, вернулся и сказал:

– Приказано ждать.

Калокир подождал до вечера, и ему сказали, что прием закончен. С этих пор он приходил каждый день с утра и выслушивал это: «Приказано ждать», дожидаясь вечера и уходил, после того как ему сообщалось, что прием окончен. Но он терпеливо продолжал приходить. Он знал, что это было в обычае титулованных сановников – не сразу оказывать прием. И чем выше был титул у царедворца, тем дольше он мучил просителя. Тем более – паракимонен, он устаивал приемом в редких случаях, ведь в военное время он был фактическим правителем Византии.

Евнух Василий прошел путь, очень показательный для преуспевающего ромея. Он начал карьеру еще при Константине Багрянородном. Сменялись василевсы, полководцы, синклитики, а он все шел в гору, все возвышался в чинах, все больше приближался к трону. Он отлично умел угадывать вкусы, интересы и прихоти каждого императора, какой бы он ни был, и стать ему полезным, ко всем приспособиться. Надо было обладать исключительной выдержкой характера, гибкостью ума, дьявольской изворотливостью, чтобы удержаться при всех режимах, одинаково нравиться ученому и строгому в добродетелях Константину Багрянородному, выслушивать его скучные трактаты, удачно поддакивать и прослыть тоже ученым. Потом приноровиться к шалостям шалопая, игривого болтуна, до крайности развратного Романа, с которым надлежало быть собутыльником, остроумным забулдыгой: порицать ученость и ригоризм патриархов, высмеивать аскетизм прославленных отшельников, надсмехаться над добродетелью. И Роман находил своего сановника вполне подходящим для своей пьяной компании.

После того как скончался Роман от излишеств всякого рода и царем стал Никифор, все думали, что евнух никак не удержится на посту первого министра. Аскетический, начавший сразу преследовать преступников, беспощадно карать взяточников, презиравший роскошь и распушенность, Никифор, однако, обрел в паракимонене чрезвычайно верного помощника и друга. Евнуха Василия точно подменили. Он тоже начал преследовать корыстолюбцев, равнодушных к церкви, всех насмешников и собутыльников, с которыми надо всем этим весело потешался при Романи. А так как он знал все уловки лихоимцев и пройдох, то вскоре тюрьмы столицы переполнились: хватили сборщиков податей, провинциальных судей, сводников, спекулянтов, богохульников, сановников, торгующих должностями и титулами; всех, заподозренных в нарушении священных скреп брака, в склонностях к пиршеству и веселию.

Только в самых тайниках дворца взяточничество стало процветать еще с большим размахом, потому что царь об этом не мог знать, все было в руках первого министра. Словом, евнух извлек из этих добродетельных мероприятий и побуждений василевса огромнейшие суммы и страшно обогатился вместе со своими подручными. Он брал под подозрение каждого, если знал, что тот имел средства откупиться. В то же время министр молился и постился хлеще василевса.

Никифор был им доволен. Но была довольна и мотовка и тайная распутница царица Феофано, бывшая жена Романа, погубившая его ради нового мужа. Она любила роскошь, траты, веселье, презирала посты и надсмехалась над монахинями. Паракимонен угождал, льстил, потворствовал порокам и этой венценосной супруги. Он изыскивал для нее бешенные деньги на наряды и тайные пиры, в которых отказывал ей бережливый василевс и на которых после поста и молитв сам первый министр предавался объедению, а тонкой иронией над постниками утверждал к себе прочное расположение Феофано. Он стал сводником царицы в ее непрестанной охоте за красивыми гвардейцами двора, он с нею надсмехался над тем, в чем за минуту до того в общении с императором отзывался с восторгом.

– Надо уметь угадывать мысли венценосных особ, – так он решил раз навсегда. – Сановнику не следует иметь своего мнения. И, благодаря Бога, я еще ни разу не разошелся во мнениях с теми, кто выше меня.

Его положение при дворе было прочно. Паракимонен ревниво следил за всяким, кто приближался к трону, и немедленно его устранял, не останавливаясь перед физическим истреблением.

Так что когда ему доложили о приезде Калокира в столицу, он сразу же насторожился. Он отлично знал этого способного, изворотливого и крайне честолюбивого чиновника из Херсонеса, который упорно добивался аудиенции у самого василевса. До этого василевс не раз и вызывал сметливого наместника, и пытался через него разузнать о намерениях опасного Святослава. И уж одно это, что василевс помнил о Калокире, заставляло евнуха сильно тревожиться и держать ухо востро. В свое время, пытаясь угодить Феофано и еще не подозревая адского тщеславия в этом высокомерном, обольстительном и блестящем аристократе, евнух сам ввел его в спальню царицы. И от евнуха не укрылось, что царица, вопреки привычке, наигравшись с предметом своего любострастия, на другой день забыть об этом, стала на этот раз понуждать Василия приводить Калокира к ней все чаще и чаще. Это уж слишком!.. И то беспокоило, что Калокир настойчиво начал добиваться того, чтобы самому василевсу с глазу на глаз доложить о чем-то «самом важном». Это даже напугало паракимонена. Он привык, чтобы все шло к царю только через него. С другой стороны, он боялся, что сделает упущение по службе, не доведя до василевса это «самое важное».

Василий видел, что с прибытием в Киев Святослава, победителя Востока, международные дела Ромейской державы еще более осложнились, и иметь такого опасного соседа не было в интересах империи, которая и без того переживала тяжелые дни. Поэтому в данной ситуации Калокир может сразу подняться очень высоко. Никифор был столь же строг к проступкам подданных, как щедр для тех, кто имел успехи в деле и оказывал верные услуги.

Перед тем как вести наместника к василевсу, паракимонен разглядывал его, стараясь проникнуть в тайну помыслов. Впрочем, то же самое делал и Калокир:

«Я знаю, что василевсу я сейчас нужен, и поэтому ты со мной ласков. Но ты следишь за мной и будешь всегда готов отравить меня при случае, если василевс будет благоволить мне еще больше», – почтительно склонившись, так приблизительно расценивал свое положение наместник.

«Я допущу тебя к царю, – мысленно решал евнух, елеяно улыбаясь, – но если ты играешь двойную игру: князю говорил одно, а василевсу скажешь другое, я сгною тебя в темнице. И имя твое будет забыто навсегда. Не таких молодцов я укрощал и не таким хитрецам переламявал хребет».

– Благословляю тебя на добрые дела, – сказал он умильным тоном. – Ты всегда был нашим добрым вестником и преданным слугою божественного василевса. Наша милость всегда с тобой. Я доложу сейчас василевсу о твоём прибытии...

Вскоре паракимонен докладывал Никифору:

– Я не знаю, владыка, можно ли полагаться на чистоту его побуждений, но его следует выслушать. Он в дружбе со Святославом; херсонесцы одним глазом всегда глядят в сторону Киева, помышляя о полной вольности. За ним будем смотреть. Он умен, образован, принят в лучших домах столицы...

Никифор поморщился:

– Из брехунов? Довольно мне одного милого племянника.

Речь шла о его племяннике Иоанне Цимисхие, блестящем молодом аристократе, который славился начитанностью и вольнодумством и был любимцем царицы и всех патрикий.

– Они приятели?

– Да, владыка. Вольнодумец вольнодумцу поневоле друг. Вместо Отцов Церкви читают Лукиана.

Никифор не любил книжников. Всю жизнь проведенный в походах, занятый практическими делами, он считал образованных людей, а особенно сочинителей всякого рода, вредными людьми, подрывающими авторитет царя и церкви. Он был твердо убежден, что Священного Писания, традиций царского двора и правил церкви вполне достаточно, чтобы понимать мир и строить жизнь подданных. И в людях он – этот бесстрашный и опытный полководец – ценил больше всего умение приказывать и повиноваться. Рассуждающих подданных, тем более чиновников, он прогонял немедленно.

– Пусть придет этот умник, – недовольным тоном сказал Никифор.

С бьющимся сердцем Калокир прошел много коридоров и комнат, украшенных цветною мозаикой и расписанных красками с изображением библейских событий. Двери в палатах были литые из серебра или убраны золотом и слоновой костью. Царский прием испокон веков был так обставлен, что, прежде чем попасть в палату, надо было увидеть богатство и блеск двора и предстать перед царем потрясенным и наперед подавленным его величием.

В лабиринте дворца все время попадались сановники, слуги, суесящиеся и обеспокоенные, что-то несущие, куда-то спешащие. Наконец молодого человека остановили в зале, где были развешаны драгоценные одежды василевсов, венцы, золотое оружие и прочая утварь. Ожидавшие приема должны были разглядывать роскошные украшения и, кроме того, отсюда насладиться видом моря. Оно омывало окраины пышных садов, было нежно-голубого цвета в сиянии дня. Все крутом блестело, сияло, искрилось, ошеломляло изяществом и роскошью. У всех ожидающих приема были лица вытянутые, настороженные, беспокойные.

Строго по этикету, на цыпочках, прошли высшие титулованные особы: кесари, новелисимы, куропалаты; за ними прошли магистры, анфипаты, протоспафарии, в дорогах, сверкающих драгоценными украшениями одежды. Все они уже подготовились к полному подобию страсти. Когда дверь из зала ожидания в Золотую палату открывалась, оттуда вырывались серебряные звуки органов и слышалось рычание медного льва.

Калокир был принят после всех, этим давалось понять, что его появлению при дворе большого значения не придавалось.

Вход в Священную палату нарочно был сделан низким, с таким расчетом, чтобы входящий уже от самой двери шел к василевсу с согнутой спиной. Калокир, входя, только успел мельком увидеть в конце зала василевса на троне, устроенном по образцу трона царя Соломона, да шевелящихся и рыкающих медных львов. В священном трепете он упал перед престолом лицом вниз. Когда он поднялся, то увидел царя под потолком, высоко над собою. (В то время как распростертый на полу допущенный на прием приходил в себя от изумления, трон особым винтом поднимался вверх.) Потом Никифор спустился, весь в блеске, как неземное существо. Золотые органы гремели. Огни многочисленных свечей в серебряных подсвечниках излучали ослепительное сияние.

Никифор, еще не вполне пришедший в себя от столь неожиданно выпавшего на его долю царского величия, излишней пышностью церемониала хотел подчеркнуть легитимность сво-

его положения и поэтому впадал в крайнее преувеличение. Суровый этот воин, привыкший к походному быту и резким окрикам солдат, к полевым шатрам, всей душой презиравший дворцовый этикет, блеск и роскошь, окружил теперь себя всем этим еще тщательнее, чем «законные» порфирородные василевсы, чтобы внушить всем естественность своего от них преемства.

В сводах палаты Калокир заметил богатые предметы из эмали, мантии, порфиры царей, на перилах галереи стояли огромные серебряные вазы отличной чеканки. Все это не укрылось от Калокира, который был на приемах при царе Романе, и он решил, что это неуклюжее броское украшательство – знак внутреннего беспокойства царя, неустроенность его грызущей совести. И это самое должны были понимать слишком проницательные царедворцы и втихомолку смеяться над своим узурпатором-царем.

Когда василевс очутился на своем обычном месте и наместник Херсонеса посмотрел на его лицо, оно, несмотря на искусственно мужественную осанку василевса, было усталым и печальным. Эта чрезмерная презентативность, в которой легитимные цари чувствовали себя как рыба в воде, ибо она была им привычна, доставляла суровому воину на троне одну только скуку и муку. Маленькие глазки под густыми бровями слишком встревоженно бегали от предмета к предмету. В поредевшей черной бороде серебрилась седина, на щеках она выступала еще явственнее. Калокир хорошо знал, что этого мешковатого, толстенького, низкорослого и безобразного мужлана ненавидела обольстительная и жизнерадостная Феофано и могла терпеть только до случая. В постели между жгучими ласками она не раз признавалась Калокиру в этом, подбивая к соучастию в преступных замыслах.

Робость Калокира не ослабевала.

Василевс подал знак, что можно докладывать.

Калокир начал речь описанием военных успехов Святослава на Востоке. Рассказал о передвижении народов, происходившем в степях, о смятении херсонесцев, о явных намерениях русского князя утвердиться на море и забрать Херсонесскую провинцию империи, тем более что русская Тмутараканская земля теперь вовсе рядом. Хоть и осторожно, но наместник имел намерение разжечь в Никифоре страх перед Святославом.

– Мои верные соглядатаи донесли мне, – продолжал Калокир, – что на пиру русский князь похвалялся перед боярами своими силами, победами и высказывал намерение вторгнуться в наши пределы. Он бредит идеей утвердиться за счет наших земель на море, которое даже в чужих землях и без того называют сейчас «Русским»...

Калокир заметил, как бровь василевса дрогнула и скипетр зашатался в его руке, и продолжал:

– О, владыка вселенной! Столь опасного врага следовало бы, не ожидая возможных бедствий, извести с пользой для империи. Для этого стоило бы только подкупить его дарами и натравить на болгар, которые, угрожая нам с севера, мешают василевсу в его стратегических делах на юге.

Никифору речь наместника показалась неуместной, потому что слишком смело тот влезал в душу царя и читал в ней скрываемое беспокойство. С тех пор как Никифор стал царем и всевластно распоряжался людьми и событиями, он быстро привык думать, что никто уже не может на земле угадывать лучше его тайные мысли врагов империи. Проницательность умного и образованного наместника его раздражала.

– Глупость мелешь, наместник, – оборвал Калокира царь, и чиновники наклонились еще ниже. – Русский князь – варвар, он страшен только для варваров же, кочевников. Легко ему шириться на Востоке среди нищих и диких племен. Но Запад покажет ему два неодолимых препятствия: совершенство нашего оружия, выделанного лучшими мастерами на земле, и непревзойденную гибкость нашей стратегии и тактики на поле сражения.

Голос Никифора зазвенел как металл:

– Таких всадников, такого смертоносного оружия, как «греческий огонь», нет нигде в мире! Нигде!

Сановники отразили на лицах восторг и изумление.

– А что он, русский князь, видел, кроме глупых секир и деревянных щитов, обтянутых медвежьими шкурами?! Он жрет сырую конину, пугает хазар и тем доволен. Не сунет сюда носа. Болгары тоже не посмеют опять прийти за данью. Они – трусы.

– Неблагоразумие вполне увязывается с трусостью, – сказал кротко Калокир, – трус именно в силу глупости и может причинить нам неожиданное беспокойство.

– Ты беспокоишься за себя или за мою державу? Достаточно ли это прилично для наместника – бояться за василевса и радеть за державу больше, чем сам василевс?

Калокир понял, что допустил ошибку и тем уязвил царя, высказав соображение о том, что «повелитель вселенной» при теперешнем своем положении, когда слава о его победах гремит во всех землях, может опасаться каких-то там презренных варваров.

– Эта уродливая толстобрюхая скотина может меня бросить на съедение зверям, – решил Калокир. – Надо показать, что все мои неудачные слова и выражения проистекали из одной лишь слепой и неопишуемой преданности василевсу, слишком провинциально-простодушной.

И, пустив в ход все свое риторическое искусство и беззастенчивое верноподданническое умение, которого даже он, привыкший ко всему, внутренне стыдился, он произнес заплетающимся языком:

– К подножию престола божественного василевса, – залепетал он, – положил я все помыслы своего ума, всю чистоту сердца... Крупицу благоденствия для своего василевса готов купить ценою всей моей жизни...

Император не прерывал его. Калокир стал говорить бодрее:

– Боговенчанный, державнейший, божественный царь и самодержец! Как солнце, сияешь ты на небе и обогреваешь своими лучами всю подвластную тебе вселенную. Ты – образец неизреченной доброты и высшей справедливости. Хотя для нас, смертных, недостижим этот образец, но будем стараться уподобиться ему, царю человеколюбивейшему, царю справедливому, царю превыше всех царей стоящему, превзошедшему добродетелью всех насельников земли и на свете когда-либо царствовавших.

Василевс кисло усмехнулся и сказал:

– Остановись, – брезгливо махнул рукой. – Я – воин и не понимаю риторики. Она всегда удобный покров для лицемеров. Поучись честности и совестливости у неученого монаха.

Чувствуя, что он летит в бездну, наместник выпалил, содрогаясь от изнеможения страхом:

– Повелитель, есть только один способ войны с варварами. Направлять варваров на варваров. Пусть руссы побивают болгар. Польза от той распри достанется третьему. Этим будешь ты.

Никифор сразу просветлел лицом.

– Это – другое дело. Но оно – не твоего разума. Я посоветуюсь сперва с паракимоненом. А ты подожди уезжать. Может быть, я тебя еще вызову.

Смятенным, душевно разбитым Калокир удалился. Проходя бесчисленные коридоры палат мимо варягов-охранников и черных рабов-телохранителей, стоявших, как статуи, в полутемных нишах, Калокир все время боялся, что его вот-вот схватят и будут пытаться. Все-таки выпустили. Но и после этого он лишился сна, изнывал в безделье, томился в неизвестности, удалиться ли восвояси или действительно ждать, но до какой поры? Бежать ли к Святославу? Но вдруг остановят на побережье и тут уж не миновать петли или ослепления. Он перестал бывать у знакомых, избегал разговоров при встречах и даже совсем перестал выходить из дома. А когда садился обедать, каждое кушанье приказывал попробовать сперва слуге.

Наконец он решился на самое испытанное в империи средство – на подкуп. Он велел своему эпарху, чтобы тот отнес весь запас драгоценностей наместника паракимонену Василию. Эпарх, вернувшись, доложил, что евнух драгоценности взял, но не захотел узнать, кем они присланы. Калокир, однако, приободрился. Ведь Василий с маху отличал работу херсонесских ювелиров. Калокир выждал какое-то время и сделал еще большее приношение: он собрал все одежды свои, украшения дома и отправил паракимонену на двух быках. Он сказал эпарху:

– Отдай это паракимонену и молчи, только гляди ему в глаза и улавливай дыхание.

Эпарх вернулся и сказал:

– Паракимонен любовно гладил ковры и одежды и вымолвил: таких одежд не сделают и лучшие столичные мастера.

Калокир обнял своего эпарха. Фразой «и лучшие столичные мастера» евнух открывался просителю. Наместник Херсонеса собрал все деньги, какие имел, занял у друзей и знакомых и послал Василию большую сумму, которую тот редко срывал даже со столичных аристократов или самых богатых воротил столицы. На этот раз возвратившийся эпарх доложил:

– Получая даяние, паракимонен ласково обронил фразу: никто не оскудеет под рукой нашего доброго василевса.

«Никто не оскудеет под рукой нашего доброго василевса» – это уже был самый утешительный знак. Калокир совершенно успокоился. Он получит больше, чем дал: «Никто не оскудеет...» на языке высокого чиновничества означало, что проситель не только будет прощен, но и приношение паракимонену с лихвою окупится.

Так и вышло. Калокира наконец позвали к василевсу. Никифор принял его в спальне. Это делали только в угоду тем подданным, в которых нуждались.

Калокир успел выведать, что василевс, неожиданно напавший на ближайшие болгарские крепости, был остановлен и не решился проникать внутрь страны, опасаясь непроходимых стремнин и дебрей, и вернулся в столицу ни с чем. В это же время на Востоке наступали арабы. Положение василевса было очень тяжелое. Недаром же во дворце вспомнили разговор Калокира. Теперь василевс ухватился за этот совет херсонесского наместника предотвратить угрозу с севера чужими руками. Но только Калокир еще не был вполне уверен, что Никифор захочет использовать в этих целях русского князя, напоминание о котором чуть не стоило наместнику потери головы. Что же сейчас присоветовать василевсу, если он прямо спросит об этом? И Калокир решил положиться на первое впечатление, которое на него произведет вид царя. В спальне в углу на медвежьей шкуре возлежал василевс. Перед образами теплилась лампада.

Никифор принял наместника приветливо.

– Ты прав. Болгар надо наказать, – сказал он с ходу.

Тут Калокир понял, откуда ветер дует. Он знал, что царь теперь нуждается в его странном мнении. И поэтому многозначительно молчал. Василевс нахмурился.

– Печенеги – наши ближайшие соседи и... – процедил Калокир с хитрой усмешкой и был очень доволен, когда царь нетерпеливо перебил его:

– Дикие орды печенегов способны только к набегам и грабежам. Какие это союзники? Они не страшны болгарам.

Вот именно. Калокир ждал такого ответа.

– О, божественный август, благочестивейший и равноапостольный василевс! Венгры могли бы сослужить нам службу в таком случае. Сила их внушительнее, – опять не без умысла предложил Калокир, в душе радуясь, что намеренное отведение мысли василевса от Святослава скорее и вернее приближает к намеченной цели.

Еще нетерпеливее огрызнулся василевс:

– Не в интересах Романии приближать к нашим границам столь опасных и беспокойных соседей. С поражением болгар венгры утвердятся в Мисии, и тогда мы будем жертвой собственной глупости.

Калокир искусно направлял ход мыслей василевса, наслаждаясь своей победой.

– На болгар лучше всего послать народ, далеко от нее и от нас живущий, – продолжал василевс, не спуская с наместника глаз. – В случае победы над болгарам он не сумеет, по причине усталости и потерь, упрочить в Мисии свое владычество. Мы всегда его вытесним или уничтожим на месте.

Ага! Он своими словами повторял мысли наместника. Калокир торжествовал и всё молчал.

– Мне кажется, – произнес василевс тем же задушевным тоном, с которым он обращался только к военачальникам своим в моменты опасности, – я поторопился со своими замечаниями в прошлый раз в ответ на твои предложения, мой милый патрикий...

Калокир сделал вид, что пропустил мимо ушей эти слова василевса, которыми наместник возводился в высокое звание патрикия. Со стороны своенравного царя это всегда свидетельствовало о самой большой благосклонности к подданному. Но и тут Калокир продолжал молчать.

– И я думаю, патрикий, надо позвать этого твоего соседа, владельца Тмутараканской земли, как его, бишь... варвара Святослава, – как ты и предлагал. Он сломит здесь голову, а болгар попугает. Я знаю, он молод, запальчив, неискусен в политике... Да! Да! Ты тысячу раз прав, патрикий, предлагая мне союз со Святославом... Я каюсь перед тобой (василевс в пылу душевного расположения любил каяться перед подчиненными, называя это «первой обязанностью христианина»), Святослав лучше всего подходит для этого. Он зарвался, пристрастился уже к даням, к славе, любит деньги, дары, добычу... как все варвары, и на этом крючке повиснет...

– Это надо еще хорошенько обдумать насчет денег и даров, – потупя очи и вздыхая, заметил патрикий. – Малым его не прельстишь. Он привык к большому...

– Мы пошлем ему пятнадцать кентинариев золота за это.

– Он будет доволен, – счастливый от исхода дела, сказал Калокир. (Это с лихвою окупало все лихоимство Василия.) Мы постараемся сделать так, чтобы он такую привел с собой дружину, которой хватило бы для того, чтобы обескровить болгар, но которой было бы недостаточно, чтобы воспользоваться победой.

– Ты будешь еще награжден и за это: точно читал мои мысли, патрикий.

– Я уже награжден тем, что удостоился лучезарной близости своего владыки, – ответил Калокир, пригибаясь к нему.

– Так выезжай немедленно в Киев и склони Святослава к походу на болгар. Скажи ему, что это – трухлявые воины, и не надо много войска, чтобы взять их голыми руками. А я посмотрю на них со стороны, как эти два осла, встретившись на жердочке через пропасть, уперлись друг в друга лбами и в конце концов свалились оба, к общей нашей радости.

– Там, где бессильно оружие, владыка, там торжествует смекалка.

Никифор наградил его царственной улыбкой.

От дворца ехал к себе патрикий на белых конях, в роскошной повозке и вез мешки с золотом. Один мешок у него все-таки выманил паракимонен Василий. Но это не испортило настроения. Воспоминание о василевсе, который возлежал на медвежьей шкуре (слухи об этом Калокир до сих пор считал злоязычием), привели его в веселое настроение. Он мысленно глумился над царем, рисуя в воображении ласки царицы, называвшей мужа чурбаном и пугалом. Он подсчитал, что царских денег хватит ему на многие годы, чтобы иметь такие же дворцы, яства, мимов и куртизанок, такие же повозки и столько же рабов, сколько их имел его друг полководец Цимисхий, а также и паракимонен Василий.

IV. Исповедь Калокира

После походов Святослав отдыхал в Будутине, родовой вотчине матери, недалеко от Пскова, у своей возлюбленной Малуши, охотясь на медведей и на зубров, а в промежутках между забавами обдумывал новые военные походы. При нем находился Свенельд, воспитатель князя Асмуд, а также Григорий, духовник матери, а его советник и переводчик с греческого. Разведчики то и дело доносили князю о греках, о хазарах, о печенегах, о болгарях, о венграх, о херсонесцах (в Херсонесе немало жило русских, в том числе соглядатаев князя, и Святослав знал всю подноготную города). Но всех больше его занимал Никифор Фока, о военных успехах которого в ближней Азии, в Африке, в Италии говорила вся Европа.

Сплотив славянские племена, сокрушив Великие Булгары и расчистив торговый водный путь по Волге, покорив Хазарию и отвоевав у нее мощную крепость Саркел, организовав в Тавриде, рядом с греческой колонией Корсунь, свою Тмутаракань, побратавшись с корсуньским наместником византийского василевса, Святослав понимал, что все это только полдела. Если Волга и Дон теперь принадлежали ему, то низовье Днепра находилось в чужих руках и выход в море по-прежнему был заперт. Этот выход сторожили печенеги, которые владели им, а устье принадлежало грекам, неустанно следившим за продвижением русских к Понту. Поэтому тайное желание Калокира быть другом Руси Святослав с радостью принял, даже побратался с ним, то есть по древнему обычаю они смешали по капле своей крови и распили ее с вином. И в Киеве Святослав встретил его уже как побратима, а для серьезных разговоров пригласил в Будутину. Калокир так сам хотел: встретиться только наедине и вдали от чужих ушей. Там он обещал раскрыть свои помыслы Святославу. Он был осторожен, и про него в среде его друзей ходила молва, что он соединяет голубиную кротость со змеиной мудростью и закоптевшей совестью.

Однажды явился к князю гонец из Киева, от матери. Княгиня Ольга сообщала, что в столицу Руси прибыл секретно наместник Корсуни Калокир и просит принять его непременно в этом летнем тереме Малуши и без свидетелей. Святослав всегда был рад Калокиру и тут же его принял. Они обнялись. Калокир прибыл один, без свиты, в сопровождении только русских телохранителей. На дворе стояла поздняя осень, ветер глухо гулял в дубраве и обрывал с деревьев багряные листья.

В тереме на барсовой шкуре в белоснежной рубахе полулежал князь и поджидал друга. Калокир давно освоился с простыми обычаями русских и поэтому без всяких церемоний развалился на шкуре рядом с князем. Окна были занавешены тяжелыми багдадскими драпри. На стене висело оружие. Видно было по украшениям, по коврам и тканям, что тут живет женщина, привыкшая к красивому убранству. Малуша, свежая, налитая, как яблоко, крутобедрая, внесла на тяжелом подносе два тяжелых кубка с заморским вином и поставила на серебряный треножник перед ними. Складка алого платья из драгоценной ромейской ткани позволила опытному глазу посла оценить точеное расцветшее тело женщины с обольстительными формами. На ней был кованный серебром пояс, белые нежные руки унизаны отборными золотыми перстнями, роскошная коса заплетена кольцами на голове, их прикрывала спереди парчовая кика. Калокир сразу определил, что это – любимая наложница, выпестована в довольстве.

Малуша отвесила гостю поясной поклон по русскому обычаю, и, когда хотела удалиться, Святослав задержал ее, подал кубок и велел почтить гостя.

Гость и хозяйка опрокинули кубки, и Малуша смачно поцеловала его в губы. И по тому, как сияло лицо Малуши, как оживился князь, любуясь величавым видом этой породистой, пышущей здоровьем, пышногрудой женщины, посол понял, что тут царит полное счастье. Малуша опять земно поклонилась и вышла.

Они остались наедине. Святослав заметил, что посол только пригубляет вино и опять ставит кубок на стол. Князь велел подать два турьих рога в золотой оправе, наполнил их, один из них подал гостю. Наместник Херсонеса улыбнулся (хитрость ему не удалась), пришлось выпить до дна – рог не поставишь на стол.

Сперва говорили об охоте, князь показал ему шкуры зубров, медведей, лосей, которых сам убил.

– Замечательные шкуры, достойные твоих военных трофеев, добытых на Востоке.

Князь захлопал в ладоши, явился слуга.

– Собрать все шкуры убитых мною зубров, медведей и лосей и отправить в Корсунь в подарок моему нареченному брату Калокиру.

Наместник стал притворно отказываться, так сказочно богат был подарок.

– Бери, бери! – настаивал князь. – У меня привычка – дарить гостю все, что ему понравилось. Я этот обычай перенял на Кавказе, когда полонил ясов и кософов.

Слуги собрали все шкуры зверей, скатали их, связали и уложили в повозки. Калокир был очень доволен. Опять пили из рога. Грек стал хмелеть, а князь только улыбался да щупал густые усы, опущенные книзу.

– Руссы – богатыри, их не берет никакое зелье, – сказал Калокир. – Я всегда люблюсь, князь, глядя на молодцов твоей дружины.

По долгу хозяина Святослав ответил тем же:

– Мне передавали, подобно молнии обрушился Никифор на врагов своих. Слава необыкновенного полководца им по праву заслужена. Он стремительно захватывал города, а жителей устрасал, разорял, сжигал, истреблял непокорных. Перебил неисчислимые полчища иноземцев и далеко распространил могущество ромеев. Арабы дрожали, армяне тряслись, сирийцы бросали оружие, слышав о приближении василевса. Одно имя его наводило на всех ужас.

Калокир был поражен осведомленностью князя, который между тем продолжал:

– Восхищаюсь! Полководец должен быть достоин своих воинов, и тогда любовь их подпирает его удачи. Расскажи мне подробно о Никифоре.

Калокир сказал:

– Это угрюмый, богомольнейший из людей, часами простаивающий перед иконами, однако родился для ратных подвигов. Он любит армию, сражения, походы, солдат и военный порядок. Нарушителей этого порядка он карает без пощады. Однажды, например, он заметил, что один солдат на поле боя бросил свой меч. Царь приказал сотнику отрезать солдату нос. Сотник пожалел беднягу и этого не сделал, думая, что царь забудет. Но царь никогда ничего не забывает. На другой день он осведомился, исполнено ли его распоряжение. И тут же велел перед строем отрезать нос у самого сотника.

Святослав весело рассмеялся:

– Жесток, но и умен, бестия.

Он отдернул занавеску. Ветер ворвался в комнату и прошелся по стенам, позвенел оружием. Разгоряченный вином и беседой, князь стал жадно глотать свежий воздух, идущий из глубин темной дубравы. Калокир встал с ним рядом и тоже с удовольствием прохлаждался, поеживаясь от холодных струй осеннего ветра и встряхиваясь.

– Я вижу мудрую расчетливость Никифора в ратных делах и большой смысл, – сказал князь. – Чтобы управлять огромной державой, нужна крепость в теле и сила в мозгах. Мощь полководца и правителя, как ствол дуба, должна поддерживать каждый лист на кроне и безжалостно стряхивать хилую ветку как можно скорее. Ум твоего василевса достоин похвал.

– Василевс не чувствителен ни к похвалам, ни к лести, но проницателен в делах и отменно лукав. К врагам, не сдающимся сразу, он не знает пощады. В последнем походе на Таре он побил сорок тысяч аравитян. К этому трофею он присовокупил новый. Велел своим солдатам отрубить головы у оставшихся аравитян и в сумках нести эти головы в стан. Утром он приказал

поднять эти головы на копья и поставить рядом со стеною, потом перебрасывать их в город. Жители, увидя головы своих родственников, были объаты ужасом. Послышались стоны мужей и вопли жен и матерей. И в это же время всюду бросались стрелы, из метательных орудий беспрестанно летели камни и обрушивались на стены. И пала неприступная крепость Таре. Это возвеличило Никифора еще больше.

– Молодец, молодец! – говорил Святослав. – И, кажется, справедлив.

– Справедливость его также настоящая, как и храбрость. И военные удачи сопутствуют ему, и солдаты обожают его. Военачальники, достойные его, также отважны. Взять хотя бы царского племянника – Иоанна Цимисхия. Молод, но уже увенчал себя славой и за то щедро василевсом награжден. За царя готов жизнь отдать. Василевса военные любят безмерно... И все-таки дни Никифора сочтены.

– Вот уж не вижу тому причины, – возразил Святослав. – Если он сокрушал крепости, обводил искусных врагов, неужели не найдет ума и сил удержаться на золотом троне?

– Да, князь. Воевать – великое искусство. Но управлять страной мирных граждан еще мудренее. Хотя бы хитрость одних только царедворцев, толпящихся у трона, и та могущественнее меча открытого врага в бою. Блеск и величие полководца Никифора затмевают всю беспомощность его как правителя страны. Моя держава, о которой гремит слава во вселенной, несчастна, князь, ибо внутри держава трухлява. Она изнурена бесконечными войнами, плебс истощен голодом, а крестьяне – поборами и налогами, они бегут с земли, законодательство василевса озлобило церковь и знать. Плебс лишился дарового хлеба. Продажа зерна в руках бессовестных спекулянтов, которые раздулись от наживы. И первым – брат царя, куропалат Лев Фока. Он скупает хлеб осенью, когда крестьянам надо платить налоги, а продает его весной, когда в нем все нуждаются.

Народ столицы доведен до крайнего отчаяния. Рассказывают, что один старик, желая найти пропитание, заявился к Никифору и попросился в солдаты. «Зачем тебе это надо?» – спросил василевс. «Владыка, – отвечал тот, – я стал значительно сильнее, чем прежде. В молодости мне нужно было двух ослов, чтобы увезти тот хлеб, который я покупаю за одну золотую монету. С наступлением твоего царствования я уношу в горсти то, что стоит в два раза дороже». Вот как в жизни. Чем упорнее он преследует льстецов и продажных взяточников, тем искуснее они становятся и злее кусаются. Словом, сейчас все недовольны в столице: и богатые и бедные... Хотя гимнов слагается в честь василевса больше, чем когда-либо... Тоже ведь и поэтам надо кормиться.

– Бедным есть чем быть недовольными, но при чем тут богатые?

– Он отменил установленные истари обычаи раздавать подарки сенаторам, чтобы ослабить знать, лишил церковь многих привилегий... Кроме того, он запретил основывать новые монастыри и своей добродетелью дерзко оскорбил иноков. Словом, я – очевидец горьких и страстных бедствий моих соотечественников. Недовольные Никифором бегут в мою Херсонесскую провинцию, и я всех лучше знаю истинное положение в столице. Теперь, князь, Никифор, сам того не зная, находится на краю пропасти. Он прогнал мисян, пришедших за данью, они этого не простят, хотя и управляются кротким и слабым Петром. Никифор даже решил наказать их, но застрял в дебрях и вернулся ни с чем. А в это время Восток опять восстал. Если затеет новую войну – наверняка он погибнет. Теперь пойми мой ход: я подал мысль царю пригласить союзником тебя. Он ухватился за это, сказав: «Поезжай в Киев, пригласи Святослава, отдай ему золота пятнадцать кентинариев. Жадный до добычи, он прельстится ею, усмирит мисян, да и себя истощит».

– Зело коварны ваши цари.

– Это наша обычная политика – сталкивать врагов, чужими руками жар загребать. И на этот раз царь ухватился за эту политику. Он так решил: обескровленную Болгарию я тогда приберу к рукам и положу предел наконец буйству этих дерзких и грязных свиней – руссов.

Презренное это и невежественное племя мешает нам жить, наводит страх на соседей. Победы Святослава приятны мне, ибо ослабляется халифат моего исконного врага, однако тревожат меня своими размерами. Пусть и он, этот дерзкий вахлак, истощится в борьбе с мисиями, а может быть, с Божьей помощью и найдет себе здесь могилу. Он часто повторял: «Этот мальчишка-князь всерьез вообразил себя способным полководцем».

Святослав нахмурился:

– Сроду не видел такого лукавства. Ты лукавил со своим царем, может быть, лукавишь и со мной...

– Вот тут я весь перед тобой, князь, рассуди сам. Я открыл тебе душу, выложил перед тобой все его замыслы... Я не вижу для себя другого выхода, более разумного...

– Пока не понял я, зачем тебе открывать передо мной все его замыслы. Или это с твоей стороны более тонкое и дерзкое коварство, к каковому прибегают послы ученой Ромейской державы, и тогда я должен посадить тебя на кол, как то любят делать у тебя на родине. Или это – измена с твоей стороны своему царю, и тогда я должен к тебе еще более насторожиться и предать тебя в его руки, потому что обманувший своего государя тем более обманет и другого.

Святослав пронзил его взглядом. Видавший виды посол прочитал на дне его глаз свирепую подозрительность. Но не смутился, твердо выдержал тяжелый взгляд князя. И не торопился оправдываться. Калокир понял, что князь оценил это. Святослав наполнил рог, поднес Калокиру:

– За причины твоих неожиданных решений. Я горю нетерпением узнать их!

Калокир выпил, бросил рог, сел на шкуру.

– Есть три причины открыть мне для тебя именно эти мои сокровенные решения, мои мечты, которые я вынашивал в своей душе и только тебе в них открываюсь. Первая из этих причин: я уже тебе сказал, что василевса дни сочтены, а я не хочу служить мертвецам... Вторая причина лежит в моем убеждении, что подвластная мне Херсонесская в Тавриде область рано или поздно должна отпасть от Романии и перейти в подчинение русского князя. Из всех провинций, подвластных Константинополю, моя область всех ближе к твоим владениям. Несдобровать ей. Я пристально слежу за ростом Киевской державы, за ростом твоего могущества, из всех ромеев только я знаю подлинную силу твоей державы, сам видел неукротимость и храбрость твою, искусство, которое тебе дало возможность идти вперед, как барсу, не зная страха. Поэтому Херсонес не сегодня так завтра будет твой. О князь! Мои владения знали плен хазаров, набеги половцев, разбой пиратов. Но со всем этим нельзя сравнить алчный и беззастенчивый грабеж чиновной мошкары василевса. Она обирает нас до нитки. Она, мошкара эта, неумолима и ненасытна, как саранча, она высасывает из нас всю кровь каплю по капле...

Речь его дышала неподдельной искренностью. Князь слушал его с неослабевающим интересом.

– Свободолюбивый Херсонес издавна мечтал о самостоятельности под эгидой какого-нибудь другого, менее жестокого правителя. Об этом мне говорил еще отец, который передал мне должность наместника. Вот объяснение второй причины, по которой я решился открыть тебе свои самые тайные помышления.

Калокир заметно заволновался, глубоко вздохнул, собрался с силами:

– Третья причина, князь, та, и этому ты удивишься больше всего, чем чему-либо другому, что я сам хочу быть василевсом Ромейской державы.

Он произнес это тихо и робко, не сводя с князя глаз.

– Как же это может быть? – воскликнул Святослав. – У тебя нет ни войска, ни даже богатства, чтобы подкупить безголовый народ.

– Зато у меня есть могучие друзья. Эту державу я хочу получить из твоих рук, князь. Получить в обмен за те, тоже огромные услуги, которые я окажу тебе, раскрыв планы нашего

василевса и указав тебе путь на Дунай, о котором ты, как известно мне, давно уже мечтаешь со своими боярами, путь к морю...

– И это тебе известно?

– Известно из хроник, в которых описаны морские походы руссов, не раз угрожавших нашей державе. Руссы достигали южных окрестностей моря Хазарского и Понта. Воины и купцы русские пробирались по морю до Багдада. Дощатые лодки русских легки, быстры, удобны.

– И вместительны, – поправил Святослав.

– Недаром же у нас говорят о их маневренности, хотя они и вмещают по полсотне человек, да еще харч и лошадей...

– Сейчас вмещают больше.

– Нам известно, что твой родитель, подходя к Константинополю, имел тысячу судов.

– Говорили, что десять тысяч...

– Может быть, это преувеличение. Но, во всяком случае, отец мой был свидетелем этого похода князя Игоря, когда ты еще ползал под столом... Мой родитель имел приказ остановить суда русских, проходящих мимо Херсонеса, да не было сил. Руссы дошли до Константинополя и стали разорять окрестности. Если бы не «греческий огонь»... Половина судов была сожжена, русские в отчаянии бросались в воду и тонули. Много их было взято в плен и продано в рабство.

– Но через три года родитель мой опять пошел на Царьград и поставил ромеев на колени.

– Да, царь Роман откупился деньгами. Роман боялся, что Игорь пойдет на Херсонес и возьмет его.

– И еще мой родитель великодушно разрешил корсунцам ловить рыбу в устье Днепра... А вот сейчас нашим купцам везде чинят препятствия. И все же удалцам удавалось проникать и в Александрию и в Андалузию. Я думаю, что время не за горами, и наши купцы будут ездить куда захотят...

– Я давно понял это. Еще с тех пор, как твоя матушка Ольга посылала василевсу Роману своих воинов-мореходов, которые принимали участие в боях за Крит, против арабов. И русские мореходцы показали пример в морских сражениях. Им и платил василевс как всем.

– Им платили больше. Так матушка сказывала...

И Святослав усмехнулся:

– А ты, наместник, осведомлен в большем, чем я думал.

– Я не только в этом осведомлен, я проник и в будущее. Скоро ты перегородишь пути, ведущие в Европу и в Азию, став на Дунае или близ Константинополя.

Святослав обнял его:

– Мы сладим.

Калокир продолжал:

– Итак, ты видишь, что мои слова и замыслы не содержат ни вероломства по отношению к тебе, ни измены государю. Это – указующий перст истории. Что такое мой государь? Он сам занял престол, никого не спрашиваясь, и тем самым показал дорогу к трону для еще более смелых людей. И вот среди них первым – называю я себя.

Пыл его молодости и головокружительная дерзость были Святославу близки и понятны.

– Ты будешь не только моим другом, но и любимым братом, – сказал Святослав. – Недаром же я еще с первых наших встреч в Корсуне проникся к тебе доверием и искренним расположением.

– Клянусь, князь, распятым Христом и Святой Троицей, что ты не ошибся во мне. Моя судьба отныне спаяна с твоей навечно.

Они были ровесники, оба молоды, оба пылки и честолюбивы. Святославу исполнилось только двадцать четыре года, но слава о нем уже опоясала Европу, дошла до стен Китая. Будущее лежало перед ними точно наливное яблоко, к которому только протянуть руки. Оба были

дерзки, отважны, полны сил и здоровья, и, может быть, поэтому они сразу поняли и приняли друг друга. Святослав решил, что серьезность намерений Калокира несомненна. В них князь сумел утвердиться еще больше, когда многоопытный Свенельд, в свою очередь, прощупал там в Киеве молодого наместника.

После этого князь велел Малуше принести вина. Она внесла амфору, поставила на стол два золотых потира, украшенных по верхним краям мелкими рубинами и изумрудами. Их привезла Ольга для священных надобностей, но сыну они понравились, и он приспособил их под кубки для пиров. Вино в сосуде было как густая кровь, пахучие его ароматы наполнили комнату.

– Теперь, благородный сподвижник, скрепим наш договор и дружбу, вкусив из этих драгоценных сосудов напитков твоего отечества.

Они выпили.

– Не переносу и не понимаю невероятной кичливости ваших василевсов и их царедворцев, – сказал Святослав. – Когда матушка ездила в Царьград, где она и приняла веру в удавленного бога, так ее держали в лодках целый месяц. Выясняли да присматривались, как к мошенникам. А как василевс поднимался к потолку, когда принимал ее, так это смеху подобно.

– Наш василевс считается наместником Бога на земле.

Святослав рассмеялся:

– Видишь, и ученые бывают дураками...

Потом Святослав попросил Калокира рассказать о состоянии духа у василевса. Калокир сказал, что царь угнетен, часто молится, стал очень подозрителен ко всему и боится появляться на улице. Однажды он поехал на богомолье и вдруг был остановлен криком толпы. В него полетели камни, палки, черепки. Большинство свиты в ужасе разбежалось, и только телохранителям удалось спасти василевса и пробиться сквозь воющую толпу к Священным палатам. Наутро стража арестовала женщин, швырявших в василевса кирпичи с крыш. Без разбирательства и суда они были заживо сожжены на глазах у народа. Теперь в городе тихо, народ затаился, но тем страшнее такая тишина.

– Как же такому чудовищу удалось стать василевсом?

– Ах, князь, в этом и дело, что история нашего государства полна подобных чудес, совершенно непонятных для иноземцев. Когда василевс Роман, оставивший двух сыновей-малюток, Василия и Константина, а также свою молодую жену Феофано, скончался, верховная власть сделалась предметом самых жадных домогательств. Действительным правителем стал паракимонен Иосиф Вринга, а военачальником и главой провинций Востока был Никифор.

Всё мгновенно пришло в движение со смертью Романа. Выявилась сразу обоюдная ненависть Вринги и Никифора. Никифор к тому же воспылал страстью к двадцатидвухлетней красавице, вдовствующей царице. Провозглашенная регентшей при малолетних наследниках престола, Феофано вознамерилась быть единственной правительницей при поддержке Вринги. Но у Никифора были свои намерения. Он стал готовиться к походу на столицу. От Вринги это трудно было скрыть. И он, в свою очередь, стал искать полководца, которого можно было бы подкупить и противопоставить Никифору. К этому годился только один – отважный, образованный и красивый племянник Никифора – Иоанн Цимисхий. К нему-то и обратился Вринга. Он обещал ему место главнокомандующего в Азии, с тем чтобы он расправился с Никифором и прислал его закованным в цепи.

– Во всем на тебя полагаюсь, – так писал Вринга Цимис-хию. – Прими начальствование над войсками и будешь одним из первых в твоей могучей державе.

Пылкий и благородный Цимисхий, притом обожающий полководца-дядю, пришел к Никифору, когда тот лежал больным в постели. «Ты спишь, – сказал Иоанн, садясь у изголовья любимого военачальника, – спишь в то время, когда мерзкий Вринга готовит тебе гибель. Вставай, не время нежиться, прочти это письмо и узнай, что замышляет против тебя счита-

ющийся образцом христианина, этот презренный паракимонен». Никифор прочел письмо и после тяжелого молчания проговорил: «Что же мне делать?» – «Как что делать? – воскликнул Цимисхий. – Ты ли это меня спрашиваешь? Неужели это возможно, чтобы ты, дядюшка, стоящий во главе превосходнейшей армии в мире, стал терпеть дальше паршивого евнуха? Неужели ты отдашь себя в жертву подлым интригам гинекея? Становись во главе войска, возложи на себя царскую диадему и иди на столицу».

Никифор только такого ответа и ждал от своего племянника и соратника по оружию и армии. Нечего было хитрить перед военачальниками, они знали его намерения. На восходе солнца перед собравшимися войсками Иоанн Цимисхий и прочие военачальники с обнаженными мечами подошли к спальне Никифора. Они вывели его к войскам и провозгласили могучим василевсом. По древнему обычаю воины подняли его на щит.

Калокир сиял, воспаленные от вина глаза излучали восторг и вдохновение.

– Князь! Он был безмерно счастлив, я думаю, он испытал сладчайшую восхитительность этой минуты, когда его провозглашали наместником Бога на земле. Солдаты, подготовленные заранее, восторженно приветствовали нового василевса оглушительными криками: «Многая лета священному Никифору Августу! Многая лета непобедимому богоподобному василевсу, да храни его Господь!» И все это потонуло в возгласах, еще более громоподобных: «В столицу! Как можно скорее в столицу!»

Обо всем этом узнали в Священных палатах только после того, как прочитали письмо Никифора столичным жителям: «Я ваш василевс, поставленный опекуном над царями самодержцами до их совершеннолетия. Я иду в столицу, примите меня как государя, и я сохраняю за вами должности и чины ваши и новыми вас награжу. В противном случае вы погибнете от меча и огня».

Вринга приготовил столицу к сопротивлению. Расставил на стенах войско, завалил ворота, собрал от берегов Босфора и Пропонтиды все суда в Золотой Рог и затянул цепями порт.

Никифор остановился по ту сторону пролива и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Вдруг в столице вспыхнуло восстание в защиту нового василевса. Богач купец евнух Василий, до того обзывавший Никифора «окаянным и смердящим стариком» и поклявшийся отдать жизнь за царицу Феофано и ее сыновей, перепугался страшно. И, убежденный в силе и успехах Никифора, вдруг переметнулся на его сторону и вывел на улицу три тысячи своих рабов и провозгласил василевсом Никифора. Три дня он бился с отрядами Вринги. Его дом в это время был разграблен, слуги убиты. Василий взял порт и двинулся навстречу новоявленному императору. Оттуда Никифор направился торжественно в царский загородный дворец.

Кто только что вчера и сегодня утром поносил Никифора как «исчадие ада», кто хулил его дома и на людях, как только он вошел в город, первыми бросились приветствовать его и восхвалять и ликовать по поводу провозглашения его василевсом. Надо сказать, что внешнее ликование было всеобщим. Бесчисленные толпы запружали улицы, я был тоже в толпе в это время и видел тысячи зажженных факелов, курение фимиама, восторженные несмолкаемые крики, хвалебные гимны, приветственные песнопения везде. При виде этого у мертвого и то сердце забьется. Патриарх Полиевкт, который только что за обедней в соборе Святой Софии проклинал его и называл «слугой Сатаны», вышел ему навстречу, встретил его у дверей и ввел в собор для коронования.

А вечером сама красавица царица прибежала к нему в покои и сама предложила руку супруги. И вот прекраснейшая, обольстительнейшая женщина из всех существующих в Романии стала женой безобразного, угрюмого, одряхлевшего, загрубевшего в лагерной жизни солдата. Этот человек, с маленькими глазками, с приплюснутым носом, жидкой старческой бородашкой, со щетиной на висках, маленького росточка, брюхатенький, обрюзглый, неуклюжий, ласкает прелестную женщину, другой я такой не видел...

Глаза Калокира от гнева и досады налились кровью, он сжал кубок, и хрусталь треснул у него в руке. Святославу понравилось его неистовство, которого он не подозревал в изнеженном и ученом греке. Князь налил чашу и подал ему:

– Залей горе.

– Князь, царица эта – ангел во плоти и неумолима в любви. Я имел счастье это испытать... И до сих пор не могу прийти в себя. Князь, пойми до конца: я прибыл к тебе не как соглядатай, а как собрат и соратник. Или я погибну, или стану «повелителем вселенной».

Он склонил голову на колени и в таком виде заплакал. Святослав стал утешать его, но безуспешно.

– Питает ли она к нему что-либо, кроме отвращения, – не знаю, – продолжал Калокир. – О царице так много ходит темных слухов, что поневоле начинаешь это считать преувеличением.

– Князь! – истошно закричал Калокир, осушая бокал и сползая на барсову шкуру. – Ромейской державе надлежит иметь более величественную фигуру василевса, человека, умеющего управлять народом и понимающего его нужды. Наконец, человека, умудренного в науках, потому что Романия страна просвещения, самого передового на земле.

– Князь! – Калокир попробовал опереться на локти, но не смог. – Мы – самые могучие – будем царить над миром, пребывая в братском союзе. Сила, упорство, решимость, ум, мужество – все у нас есть. И лишь остается прислушаться к словам поэта: «С мерой, с уздой в руках Немезида вещает нам ясно: меру в деяньях храни, дерзкий язык обуздай».

Он звучно, певуче, красиво продекламировал эти строки по-гречески и от возбуждения и упоенный божественной музыкой бессмертного Гомера повалился на ковер, взывая:

– Лучше умереть живым, чем жить мертвым!

Две служанки-рабыни уложили его спать. Только после этого Святослав, довольный исходом дела, прошел в покои Малуши. В белой, до полу сорочке, с распущенными волосами, она стояла на коленях перед иконой и молилась. Она шептала слова молитвы, неизвестной князю. Глаза ее пылали и были обращены к лику Христа. Малуша была обольстительно хороша. На одно мгновение князю захотелось опрокинуть ее на ковер, но он сдержал себя и вышел на крыльцо терема, чтобы переждать беседу возлюбленной с удавленным богом христиан.

В могучих вековых дубравах немолчно гудел ветер, сверху сыпались раскаты грома. И черное небо на мгновение раздиралось исполинскими зигзагами огненных молний.

V. Отцы и дети

Ольга все ждала, когда дружина опамятуется и князь займется наконец земскими делами. Княгиня по старости и недугам твердо решила отойти от них и передать управление землей сыну, а самой заняться воспитанием внуков в христианском духе. Она уже стала приучать их к грамоте и водить в церковь Ильи Пророка, в одну из первых церквей на Руси, воздвигнутых христианами еще при муже ее Игоре. Но князь даже не заикался про то, чтобы вступать в управление Киевской землей, и даже вдруг исчез из столицы. Прошла неделя, прошла другая, а княжеский двор все еще оглашался уханьем бубнов, завыванием дудок и гуслей, все еще колдовали во дворе неутомимые неприличные баловники скоморохи, вызывая гогот, хохот и пьяную похвалу киевлян. Любители дарового угощения – браги, пива, меда – все еще толклись во дворе до тех пор, пока не опорожнятся за день все бочки, пока не будет сжеван весь харч. А когда дружина узнала, что князь отбыл в Будутино, то ее и вовсе нельзя было унять. С утра во двор ввозились на быках бочки с пивом, и начиналась потеха. Около пирующих собирались бродяги, калеки, юродивые, зеваки, нищие, и двор напоминал самый буйный притон. Ольга не могла мешать пиршеству, это не ее была дружина. Скрепя сердце она посылала в Будутино гонца за гонцом, чтобы явился сын и навел порядок, и вот однажды наконец он появился во дворе. Увидел эту картину бражничающих, велел позвать сотских, всех пьяных перевязать, вывезти на берег Днепра и обливать студеной водой до тех пор, пока не очухаются. А тех, которых и вода не привела в чувство, бить кнутом. Только после этого закоренелые пьяницы пришли в себя и разбрелись по домам.

В опочивальне княгини Ольги Святослав застал всех ее советников: преданного ей молодого простодушного богатыря, брата Малуши, Добрыню; хитрого многоопытного варяга и могучего воеводу Свенельда, воинские подвиги которого князь очень высоко ценил; кроткого ее духовника и наставника пастыря Григория; Асмуда – дядьку Святослава, воспитателя, преданного князю, как собака. Они вдруг смолкли, когда он вошел. Святослав угадывал, что предметом их беседы был он. Советники тут же молча и тихо удалились: негоже ввязываться в разговор сына с матерью.

В углу теплилась лампада перед иконой распятого Христа. Теперь и у некоторых дружинников и бояр (это все от матери!) нередко встретишь этого пригвожденного к кресту молодого бога. Князь покосился на него с неприязнью, но уже без былой злобы. Ольга лежала в постели, пахло распаренными травами, ими врачевал ее придворный лекарь. Святослав на цыпочках подошел к Ольге и склонился над нею. Этот человек, который покорял целые государства, робел перед матерью и любил ее. Он верил в то, что она самая в государстве мудрая из людей, твердо и верно правит Русью и ему нечего беспокоиться в походах ни о детях, ни об отчизне, Русь не сгинет под ее рукой. По тому, как она сжала губы и немигающими глазами глядела мимо него, он понял, что кляузники и домоседы, преданные ей, донесли о его разговорах с Калокиром. От нее ничего не скроешь.

– Я, матушка, тебя проведать пришел, – начал он кротко, косясь на мрачный вид распятого Христа, – скоро нам, видно, опять расстаться придется...

– Опять? Да будет ли этому когда-нибудь конец?! – воскликнула она.

В голосе ее послышалась и обида, и горечь страдания.

– Дружина попрекает, дескать, в Киеве совсем обабились и мечи, поди, ржаветь стали.

– Дружине твоей только шататься бы да мечами махать... Знаю я твою дружину... Бросят жен на произвол судьбы да полонянок и нудят. Бесстыдники. До родной земли им и дела нету. Как перекаати-поле.

Она поднялась через силу и села на краю постели.

– Давно бы пора и мать спросить, как устраивать дела, и про дани, и про суд, и про погосты. Как мы без тебя правду блюли и мошенников карали. Ведь ты совсем одичал, по чужим сторонам гуляючи. Прибыл домой, а что толку: с коня да на пир! Жен два годочка не видел, жены в самом соку, без ласки сохнут, а бабы годы катючие... Детей твоих я рашу, тебе до них горя мало.

Она горячилась, рассказывая про детские шалости внуков, про тоску его жен. Чтобы отвлечь ее от тягостных признаний, он сказал:

– Володька вырос, матушка... А волосы как лен белые.

Белые волосы были у Малуши.

Ольга вздрогнула. Одно упоминание о рабыне, которая родила ему любимого сына, приводило Ольгу в ярость. Сын поймал себя на обмолвке и стал хвалить старшего, Ярополка.

– Полно врать-то. И притворяться-то не умеешь. Наложница тебя околдовала, и сына ее больше всех любишь. До остальных тебе и дела нет. И Русь тебе в тяготу.

– Попрекаешь каждый раз, матушка. А сколько у тебя помощников! Светлые князья, бояре, подъезчики, тиуны... Неужто при такой ораве трудно со смердами управляться?

– Управлять смердами не проще, чем воевать. Без княжеского глаза – как раз всех их разорят... Пользуются их нуждой, в холопы переводят... Мучают, чинят обиды... Эти помощники... Каждый себе в карман норовит.

– Займусь и этим, но сперва съезжу на Дунай. Съезжу и вернусь. Не вру.

Ольга выпрямилась, протянула руки, точно защищаясь, произнесла дрожащим голосом:

– Бог мой! Мало тебе добычи? Мало земли? Русь велика и обильна, порядку в ней нет. Опомнись, глянь окрест. Мало тебе жен, домашнего счастья? Красивых наложниц? Ох, недавно приезжал к тебе этот щеголь и краснобай из Корсуни. Сказывай, какую мороку он на тебя навел...

– Послал его ко мне Никифор с золотом и дарами. Он запутался, этот храбрый царь. Арабы забирают у него земли на юге Италии, болгары теснят с севера и требуют дань. С германским императором тоже в разладе. Тот просил царевну в жены своему сыну, Никифор отказал. Да и внутри страны смута. Никифора ненавидят подданные, поэтому подходящий момент...

Ольга перебила его:

– Для того, кто посягнул на трон законного самодержца, на небесах уготована кара...

– Так вот Никифор просит помощи...

– Законопреступник? Против христианской Болгарии? – голос ее задрожал от гнева.

– Да ведь и те и другие единоверцы, христиане, – Святослав усмехнулся.

– Однако и христиане бывают разные. Грешные и праведные. Кроме того, болгары – наши братья, славяне. Греки – нет.

– Я сотню болгар не возьму за грека Калокира.

– Это – новая беда. Не перехитрить тебе грека. Для него русские только варвары... Не поддавайся, сын, ни золоту, ни сладким уговорам. Умоляю тебя! Может быть, даже сам Калокир метит в цари, Корсуни ему мало. У греков яд, веревка, кинжал решают дело престолонаследия. У них каждый лезет наверх. Кляузники... Криводушники.

– Какое мне дело до ихних кляуз? Мои помышления о Дунае, о Золотом Роге. Наслышался я, что и жителей там больше всего – славян. Не завоевателями мы придем к болгарам, а с доброй вестью жить по-братски, вместе... На Дунае мы очутимся при путях, ведущих к грекам из Руси, Богемии, Венеции, Германии. Мы будем сторожить пути эти, по которым идут товары из Европы в Азию. Нашим купцам будет вольготнее. Вольготнее, чем договоры, заключенные отцом моим и дедом. Ежели же греки будут упрямы, мы прогоним их в Азию, сами утвердимся на Босфоре... Тогда и Царьград станет нашей столицей. Именно сейчас, матушка, все благоприятствует нашему замыслу.

– Ох, сын, нагляделась я за свой век: война любя только тем, кто от нее не страдает.

– А-а! – Сын поморщился. – Тебе это тихоня Григорий нашептал: «Люби врагов своих, прощай ненавидящих нас». Сказано это для простаков и трусов.

– Странение достанет каждого, и тебя достанет. Поэтому заступаться за обиженных – это значит заступаться за себя самого.

– Но ведь я и собираюсь заступаться за обиженных. За разрозненные племена славян, которых бьет германский император поодиночке, теснит на Одере, Эльбе и при море Варяжском, разоряет и обращает в данников. Славянские племена будут собраны под свою руку. К тому идет, матушка. Это и Богу твоему будет угодно.

Княгиня Ольга сдернула с плеч платок, ей стало душно от волнения, лицо залила краска. Помыслы сына были так заманчиво обольстительны и в то же время еретичны. В душе ново-явленной христианки еще смутно бродили неумность и пыл языческой властительницы.

Святослав воодушевился:

– Этим мы положим начало проникновению нашему на Запад, матушка, а наследники наши пусть завершают начатое. Никуда нам не уйти от Царьграда – это ворота в просвещенные страны, которыми мы сейчас презираемы. Но мы сами поощряемы Перуном в первовластители на земле.

Ольга ответила, явно смягчившись:

– Запомни, сын, греческие силы многочисленны, воины многоопытны, полководцы их зело искусны и золота больше всех у тамошних царей. Стены Царьграда высокие-высокие, суднам греческим счету нету, а греческий огонь вчуже страшен, если только о нем подумать. Он выжжет все на пути... Отец твой испытал эту напасть и мне о том поведал. О, моя мука!

Сын и этим был доволен, значит, сдалась наполовину, строптивость ее выражалась всегда гордым молчанием.

– Мы не станем повторять ошибок отца. Греческий огонь будет нами разгадан и обезврежен. А если не добьемся этого, мы с суши подойдем к Царьграду, со стороны болгарских земель, от Дуная.

Ольга вдруг поняла, что поход уже обдуман бесповоротно и сын ставил ее перед фактом, это всегда делало ее непреклонной.

– Я не даю согласия на эту войну, князь, – сказала она твердо.

Князем она называла его всегда только в одном случае: если хотела решительно пресечь его намерения.

Святослав пожал плечами.

– Не пожимай плечами, князь. Ты меня оставишь со внуками, а придут печенеги и возьмут Киев. Бояре разбегутся, спасая свои шкуры, или изменят, я их знаю, смерды будут схвачены и отправлены в рабство. Детей твоих оскоят и продадут в багдадские гаремы евнухами. Подумай об этом, князь. Не войной, а уговорами да ладом можно решить все вопросы с греками. И купцы наши будут довольны. Теперь ты и без того грозен. А земли у тебя и так много. Обширней твоей державы в свете нету. Сам Карл Великий не имел столь обширных владений. Знаю я, что заботишься о наших купцах... Да зачем в торговых делах прибегать к оружию...

– Но что дала тебе твоя поездка в Царьград? Ничего, кроме позора, которого я не могу им простить. Тебя, великую княгиню Руси, держали три месяца в гавани, за стенами Царьграда, как простую боярыню, одарили тебя серебряным подносом, как холопку, ты сидела не с князьями, а в ряду с женами лишь царедворцев и пыжилась, чтобы из их среды выделиться.

Ольга подняла руку, на лице ее отразилась скорбь. Тяжело было для гордой россиянки одно только воспоминание об этом унижении, когда резко дали ей греки почувствовать расстояние между августейшими особами царского двора и русского княжества.

– Грешно мне жаловаться и гневаться, христианке, – сказала она горько, – никто на земле не избавлен от унижений. Иов многострадальный был и богат и счастлив, а какие испытания на него наложил Господь... И всем нам пример: каждочасно помните о суете земной: чем выше

поднимается человек, тем сильнее упадет, если тому представится случай. Христос, распятый неблагодарным человечеством, указал нам меру терпения. Нехристианские народы не считаются греками равноправными, и это справедливо. Все великие и просвещенные народы чтут христианского Бога: греки, латиняне, Оттон, болгары последовали за ними, и свет православия распространился по стране. Прискорбно мне, что отстала от них... Звериное наше житье, заскорузлые повадки, пьянство, да блуд... Позор, стыд, тьфу!

Ольга плюнула под ноги сыну.

– Хочешь вечной жизни и благоденствия, смирись и крестись, сдружись с греками. Смирись первый, за тобой потянутся все.

– Ох, матушка, опять зряшные уговоры. Я знаю, что греки открывают пути к их дружбе лишь тем, кто признает себя их подопечными, принимает их веру. Русскому князю пригоднее избрать другой путь: завоюю и сами в дружбу напроятся. Так и будет.

– Так не будет, – ответила она ему в тон, – нас они не пустят даже дальше Корсуня. Они зорко стерегут свои владения. Не ловушку ли тебе заготовил Калокир?!

– Корсунь уже признал мою власть. Калокир просил меня о дружбе и принял мою волю.

– Бахвал он, хвастунишка! Русские князья давно зубы точили на Корсунь и пытались утвердиться на Понте. Корсунь всегда был для них как бельмо на глазу. Великий князь Олег, да и мой муж, а твой отец, были бессильны что-либо сделать, а ведь пытались же. С тех пор Корсунь еще сильнее стал, он разбогател и расширился... Уж где тут тебе...

– Но теперь мы сами основали колонию на Понте. Мы подошли к Босфору Киммерийскому и утвердились в Тмутараканской Руси навек. Саркел, эта мощная крепость, мною разрушена. И если бы я захотел, то и Корсунь взял бы без особого труда. Но наместник, отважный Калокир, сам предложил мне условия, которые меня удовлетворили. Итак, хазарская крепость сокрушена, хазарская держава разгромлена, царьградское влияние в Тавриде ослаблено. Никифор Фока своими суровыми законами породил массу недовольных, они бегут в Корсунь под защиту Калокира, это наши друзья и союзники. Гордый город этот, издавна помышлявший о вольности, тяготившийся царской опекой, теперь в лице наместника стал грекам враждебен. Русское влияние там упрочилось. В Корсуне я везде слышал родную славянскую речь, славян там столько же, сколько и греков.

Калокир, недовольный царем и убежденный в силе нашего оружия и прельщаемый выгодами от союза с нами, возмечтал сам о греческой короне, ты угадала, матушка, и предал себя целиком в мои руки, из которых он намерен ее получить. О троне он грезит наяву. Мы скрепили дружбу целованием и на том поставили: идти на Дунай, присоединить болгар, а греческую корону дать Калокиру, который будет моим светлейшим князем, подчиненным только мне. Если мы не отвоюем у Никифора корону для Калокира, то уж наверно утвердимся на Дунае, к общему с болгарами благу. Расширим наши владения до Царьграда, присоединим болгарских славян к нашим и их единомышленникам тиверцам и уличам, и наша земля будет простираться от Варяжского моря до Босфора. А там поглядим, как вырвать у германского императора славянские племена, разрозненные и обесчещенные, которых он бьет поодиночке.

Она поглядела на него строго-ласково, боясь обнаружить тайное восхищение им.

– Ты молод, горяч, малоопытен, а Калокир, этот властолюбец, потерся при дворе самых хитрых царей. У таких вся жизнь – козни. Ему нечего терять. А у тебя на плечах Русь... погоди, наберись ума, сил, опыта.

– Опыт дается только делом, риском, бесстрашием. Стоячая вода – плесневеет.

– Выжди, по крайней мере, время. Время само покажет.

– Пока я выжидать буду и раздумывать, Никифор укрепитесь на берегах Дуная, и тогда конец всему: выгодной торговле, помышлениям о помощи соплеменникам. Для победителя тот момент своевременен, который созрел для победы.

Они стояли один против другого, не уступая друг другу, изнемогая в споре и внутренней борьбе.

Наконец он произнес:

– Великий князь русский с сегодняшнего дня будет готовиться к походу. Сперва отправлюсь в полюдье, соберу что нужно для войны, товар для распродажи на рынках у болгар и греков... Построю новые суда, починю старые, пополню дружину... И тогда двинусь в путь по весне.

Она упала перед иконой, простирая руки:

– Господи Иисусе Христе! В Твоих руках пути нашей русской земли. Помилуй сына, если он даже и не позвал Тебя.

Поднялась с колен и властно произнесла:

– Не велю. Последнее мое слово. Не слушаешься княгини, послушайся матери... Не даю согласия, так и знай...

– Негоже, матушка. Я – князь. Послушайся тебя, дружина станет смеяться.

– А коли князь, так правь Русью, а не мыкайся по чужим странам... Да не разорь чужие земли...

– Что же, я свои должен разорять?

– Никого не надо. Всякое дыхание хвалит Господа. Вон Он, – указала на распятие, – всех велит любить.

Святослав усмехнулся:

– И хазар, стало быть, которые вытаптывали посеvy наших смердов да грабили наших купцов? Да уводили жен наших подданных в рабство? Всех любить?

– Да, да, и хазар любить, – сказала она неуверенно.

– Хорош твой бог. Сколь живу на свете, а таких богов и таких людей, которые не любят сами себя, а любят врагов, – не встречал. Вот ладонь, – сын показал свою могучую ладонь, – как хочешь, а в одну сторону пальцы гнутся, к себе...

Он согнул пальцы в кулак и показал его матери.

– Это – старый закон, себялюбие, – ответила она, – просвещенные народы иначе думают. Должен быть мир на земле, а не вражда. Он, – показала Ольга на распятие, – принес на землю любовь и мир.

– А что толку, что Он сказал?! Все равно Его повесили на крест. Стало быть, Его речи не мудры, а бессильны, вражда осталась в мире, как была и, по-моему, будет вечно. Не прикажешь кошке не охотиться за мышью... Так и люди...

– Люди – разумные существа. В них Бог вдунул душу. А кошка – без души... Вот звери и поступают неразумно.

– Не видел, чтобы и многие из людей поступали разумнее животных.

– Про себя говоришь, сын, – она поднялась на ноги, затряслась от гнева, – все язычники, как и ты, в огонь ада пойдут, а христиане в рай.

– Калокир говорит, что в законе христианского бога ни ада, ни рая нет. Это все монахи выдумали да попы, чтобы пугать народ.

– Не богохульствуй, прокляну.

– Я твоему богу, матушка, не подначален. У меня свой есть. Он меня знает и в обиду не даст.

– Сатана глаголет твоими устами, – воскликнула она, хватаясь за сердце. – Сатана... Сатана... Антихрист...

VI. Ярило

Приближался праздник Ярилы. Все шло в рост на земле. День становился длиннее, а ночь короче. Коровы, в охоте подняв хвосты, неуклюже ярились по лесным полянам. Раскаленное солнце выкатывалось на самую середку неба и обдавало жаром, как из печи, и леса, и озера, и пашни, и луга, и борты. Буйно всходили посевы, наливались сочные травы, доходили до пояса. В садах набухали плоды, рощи стенали от птичьего гомона. Над болотами, над озерами немолчно галдели несметные стаи пиголиц, гусей и уток.

Сельское население было в досуге, сенокос и сбор жатвы еще впереди. Пришла самая вольготная, счастливая пора у смердов, пора гульбищ и умыкания невест, пора неоглядного веселья, торжества молодости, полнокровия жизни. Природа преображалась на глазах в необоримом своем томлении; тихие реки как серебро в берегах. Светлячки в сумерках, точно огоньки, висели на деревьях и в городьбе. Леший зычно охал на заре; русалки с распущенными волосами танцевали при луне на берегу рек и ходили голыми, ныряли в густом тумане. В дремучих лесах около родников они забавлялись бесстыдными плясками, а по ночам похищали младенцев и сонных девушек, чтобы сделать из них подружек. Особенно гурьбились они в тени зарослей, где целыми днями и ночами озорничали, качались на ветках деревьев и кустов или разматывали пряжу, похищенную у дурех-поселянок. По ночам русалки разводили костры, маячившие путникам издалека, сладко аукали и манили прохожих; залиvistо хохотали, зазывали простаков, зацеловывали и потом топили в омуте, а тут опять садились под ивой и приговаривали: «Ходите к нам, молодцы, на ветках качаться... И поцелуем и приголубим всласть». Если кто попадался из красивых да юных парней, убаюкивали их русалочки до смерти.

Вместе с подружками Роксалана ходила к реке, бросала венки в воду, чтобы суженого в эти дни угадать и задобрить русалок, и, не помня себя от страха, с бьющимся сердцем возвращалась домой. И постоянно носила при себе полынь, которая предохраняла ее от русалочьих коварных ловушек.

Души умерших тучами носились над разноцветными лугами в виде бабочек, пчелок и других мелких букашек. Они то и дело припадали к роскошным цветам, чтобы высасывать их медвяные соки. Все селение смердов Будутино, где жила Малуша, было убрано молодыми кудрявыми березками и душистыми цветами. На завалинках, на крылечках, на окнах, на стенах изб везде выюны, везде цветы. Роксалана все эти дни пропадала в лугах и в долах. Она выходила туда еще до солнечного восхода, расстилала на росяной траве передник, потом утиралась росой, роса придавала лицу свежесть и бодрость и несказанную прелесть. Все это она проделывала только в угоду суженому. Из лугов она приносила охапки пышных трав: медвежье ушко, медяницу, болотный голубец. Убрала ими свою небольшую горенку, разложила траву и по лавкам, и на порожке, и на тропинке, что вела от крылечка к соседнему двору. Повесила перед входом в сенцы пучок крапивы, чтобы уберечь свою родню от злых духов.

А с вечера Роксалана убегала на гульбище. Там у реки, на поляне березовой рощи сходились холостые парни и девушки соседних селений: из Будутина и из Дубравны. Девушки в отбеленных холщовых сарафанах, в цветных бусах, а юноши в длинных бордовых рубахах и широких портках заполняли поляну густой толпой. Там играли в горелки, и ту, которую успевал догнать парень, он сманивал в глубь леса, уговаривал, ласкал и умыкал к себе в дом. Тесный прерывающийся крик и горячий девичий визг взвивались над рощей и замирали над рекой. Под деревьями не остывал прерывистый страстный шепот. Возбужденные пары свивались на ходу и пропадали в кустах, поселяя трепет и сладостную истому в тех, кому еще не довелось найти суженого.

Роксалана, замирая от сладкого страха, оглядывалась кругом, и желая и опасаясь встретиться с тем, по которому тосковало ее сердце. Это был Улеб из поселка Дубравна, высокий и

кряжистый парень, который хаживал на медведей с рогатиной и ни разу не сдрейфил. Недавно она встретилась с Улебом на развилке дорог. Он шел из лесу, где выдалбливал борты. Увидал ее и тут же побежал за ней. Дух замер в Роксолане. И перепугавшись и обрадовавшись, она упала у корня дуба, и тогда он обхватил ее сильной рукой и сказал: «На русальной неделе я тебя уведу, Роксолана, так и знай. Ты мне любя».

Радость тогда сковала ее уста, и она не могла промолвить ни слова. Но это и был знак согласия. Сладкое беспокойство не покидало ее с тех пор. Она сказала об этом матери. Та узнала о достоинствах Улеба, о том, кто его родичи и не водилось ли за ним дурной славы. Семья Улеба, довольно большая, состояла из женатых братьев, малолетних сестер, не отделившихся дядей, всего из сорока душ. Этой большой семьей управлял опытный и строгий старик, отличный бортник, имевший сытых коров, завидные запасы пшена и жита, несколько изб, размещенных на одном дворе, огороженном забором. Мать Роксоланы, пребывавшая после смерти мужа в острой нужде, была рада дочернему выбору и дала согласие на брак. И с тех пор Роксолана ждала желанной встречи с Улебом.

И как раз в эти дни бога Ярилы только Улеба и искала в толпе, но от него же и пряталась (так сладко было предчувствие неминуемой встречи), и за весь день он не мог ее поймать и увести.

Она все время терялась в хороводе, издали не сводя с него глаз. И эта тайная сладкая борьба продолжалась несколько суток подряд.

Однажды она увидела его поутру, когда он изображал Ярилу. Украшенный лентами, обвешанный колокольчиками, с цветным матерчатым колпаком на голове, раскрашенный и нарумяненный, с бубном в руках, он шел по селению впереди толпы, плясал, а остальные во хмелю хлопали в ладоши и кричали:

– Ярило идет... Ярило идет!.. Нам веселье несет... Ух ты!

Девушки забрасывали его цветами, обвешивали венками и с веселым визгом шарахались в стороны, если он пытался которую-нибудь ухватить рукой. Сердце Роксоланы колотилось от полноты нахлынувшего счастья. Она хотела бы быть на месте каждой, с которой он заигрывал, но все-таки старалась не попадаться ему на глаза. Домогательство Улеба было для нее слаще самого обладания. Да притом же и таков был давний обычай.

По вечерам зажигались костры у источников, на полянках и на опушках дубрав, и поля и рощи наполнялись дразнящими звуками, бередящими сердца даже старых смердов. У костров сходились девушки толпами в венках из цветов, опоясанные травами, раздевались донага и перепрыгивали через огонь. А парни подглядывали из-за кустов; после того как девушки облакались в наряды, начинались хороводы. И всю ночь Роксолана пряталась в сладком трепете, боясь встретиться с Улебом. До утренней росы, когда рассвет протягивал красную нить у края земли, Улеб искал ее, шнырял между рядами девушек и никак не мог найти. Но вот в момент гаданья, когда в большой костер кидали предметы, задумывая про себя загадку, Улеб бросил большого петуха в огонь. Тот, золотой от искр, забился в пламени, взвился над кустом огня и вдруг камнем упал в его середину... Радостный крик Роксоланы огласил поляну. Улеб бросился туда, но девушка спряталась в чащобе, улепетнула домой.

Возвратившись в клеть (она спала в клетке на соломе, устланной домашней холстиной), усталая и изнемогающая от любви, она предалась переживаниям. И в воображении ее всплывал образ Улеба, его орлиный взгляд, его густой и сочный голос, горячее дыхание. И по телу ее пробегала дрожь. Сердце ее наполнилось предчувствием счастья, и она опустила на колени и протянула в сторону леса свои точеные руки (она знала, что там еще продолжали свои свадьбы резвые русалки и бродили добрые духи); она умоляла Перуна не допустить до нее порчи в первую брачную ночь. А первой брачной ночи она ждала как судьбы и думала о ней с замиранием сердца каждый момент дня. Она обращалась ко всем богам, о которых знала от матери и от волхвов, и давала клятву всегда быть им послушной и верной. И она побежала к источ-

нику за огородами, решила встретить светило очищенной водою. Она окунулась в источник и встала на пригорок, вся розовая в лучах солнца, принесла богу-солнцу восхваление и только тогда легла. Сон ее был крепок и глубок, и только под конец его она стала грезить. Она видела озеро и обнаженных на берегу русалок с лебедями. Молодых прекрасных русалок с гибкими телами, с круглыми, как чаши, грудями, с белоснежными руками, с волосами огненного цвета, волнистыми, длинными до пят и густыми, с глазами зелеными как трава, полными любовного восторга и страстного томления. Они улыбались ей и горячо манили ее к себе. Она подбежала к ним и проснулась.

От ветел и берез, растущих вокруг избы, лежали на земле короткие тени. Золотые полдни. Судьба ее сегодня должна решиться. Это был последний день умыкания невест, и Улеб никому ее не уступит. И тогда, чтобы укрепить союз с ним, она пошла к волхву. Она принесла ему гуся, голову которого, чтобы не гоготал, держала между ног. И тогда волхв, узнав ее намерение – приворожить сердце Улеба навеки, сказал, что это будет выполнено, но на вечерней заре. И вот в ту пору, когда подруги пошли в рошу на последнюю гулянку, Роксолана стояла у столетнего дуба и произносила вслед за волхвом слова страшного заклинания.

Кончив шептать вещие слова, волхв, видя трепещущую в божеском наитии Роксолану, дотронулся до ее воспаленных и дрожащих губ корявым пальцем:

– Не страшись судьбы, голубонька, от нее не уйдешь. Сегодня девка – завтра баба. Чему быть, того не миновать. Вижу, сухота тебя в полон взяла, парень все сердце выел.

– Сон не в сон, дедушка. Сердце разрывается на части, ожидавши... Да и страшно.

– Будет он теперь навсегда твой. Заговорили его накрепко. А тебе совет даю: не уступай раньше срока. Пусть остер топор, да сук задирист. И тогда его тоска по тебе еще больше будет. Станет он сегодня тело твое ласкать, отталкивай. А когда будет уже не в силу, дай ему полную волю. Счастье со счастьем сойдется – потеряется ум и стыд, и мера бабьего терпения, и мера мужской ярости. Никто с богом Ярилой совладать не в силах, девонька, так с испокон века водится.

– Каждому твоему слову буду верна, дедушка. Только не откажи нам в милости, обведи нас вокруг ракитова куста.

– Жду вас на утренней заре у источника. Раньше зари в воду не лезь. Пускай сперва зоря озолотит твое тело, которое ему любо будет видеть.

Он дал Роксолане заговоренный венок.

– Пойдешь на гулянку, неси венок на голове. А когда будут девки через огонь прыгать, ты к нему подкрадись, брось венок ему на голову. И он будет тем венком связан и станет за тобой гоняться до тех пор, пока не схватит. А ты ему до купанья красоту не открывай, хоть бы его изгрызла любовная тоска и переломала кости мука. Пускай сперва водой очистится...

Она надела венок на голову, зашла домой, обрядилась в лучший свой наряд: платье из беленого холста, украшенное шитым узором из деревьев и цветов. На шею повесила ожерелье из серебряных бляшек и нитку бус; убрала распущенные волосы проволочными легкими колечками; вдела в уши лучшие свои серьги, по две в каждом ухе, бронзовые, густо позолоченные, которые отец когда-то выменял за куниц у киевского купца; руки и ноги украсила перстнями из гладкой витой проволоки с перевесками, звенящими на ходу. Набелила лицо и нарумянила щеки. Оглядела себя в окошко с бычьим пузырем. Движения ее были торопливы, но уверенны.

А в поселке, в этот последний день празднества богу Яриле, уже буйствовало веселье.

Женщины в праздничном убранстве: в кольцах, в ожерельях, в бусах в виде звенящих блях, с запонками у бедер, в цветных киках из заморских тканей; из-под кик свисали светло-русые локоны; женщины эти, увитые венками, торжественно несли высокое соломенное чучело, изображавшее бога Ярилу, с подчеркнуто рельефно и натурально выделанным огромным детородным членом. Ярило был убран монистами; на голове его чепчик, на деревянных

руках повешены венки из душистых цветов: мяты, резеды, издававших опьяняющие запахи весны. Смерды, в том числе и бородатые старики с серьгами в одном ухе, в белоснежных рубахах, стянутых ременными поясами с медными бляшками, и в широченных шароварах, увешанные амулетами (зубами и когтями медведей), раковинами, птичьими косточками, – смерды дружно подвывали женщинам, взбудораженные их неистовым весельем, буйством сил и задорной воодушевленностью. Волхв – колдун притоптывал, идя рядом с Ярилой, звеня кольцами, нанизанными на руках и на ногах, и зычно вскрикивал, простирая руки:

– Ярило! Боженька! Не оставь наших баб, горячи, зело горячи ихнюю кровь. Яритесь, яритесь все, себе на сладость, на утеху, роду на умножение, земле на силу.

Девушки падали перед Ярилой на землю, люто ярились. Женщины несли на деревянных блюдах лепешки из гречневой муки, начиненные толченым конопляным семенем и луком, корчаги с медом. У всех в руках были ветки молодой березы и молодого кудрявого конопли. Все зычно славили бога Ярилу, взмахивали руками, плясали, истошно хлопали в ладоши, встряхивали бедрами. Это буйное и шумное празднество увлекало всех встречающих и несло за собой. За Ярилой, качающимся над толпой, молодые и самые дородные женщины везли телегу, на которой сидели девушки в цветах и распевали песни. Телега остановилась у самой ветвистой березки подле одной из изб. Вышел хозяин-бородач и всем смиренно поклонился.

– Покупаем березку! – закричали женщины.

Хозяин долго не сдавался, как и подобало по обычаю, потом березку уступил. Женщины срубили ее и украсили лентами. Повезли на околицу и там плясали вокруг нее и Ярилы, пили пиво, лили его в костер и вскрикивали:

– Не огонь горит, не смола кипит. А горит, кипит, ярится ретиво сердце.

Потом Ярилу хоронили. Он лежал в деревянной колоде, а над ним причитали, его громко оплакивали:

– Какой же он был хороший... Не встанет он больше. Помер, Ярило, помер, как же нам расстаться с тобой? Встань хоть на часочек, Ярило.

Мужчины ходили вокруг куклы, трясли Ярилу за плечи:

– Эге, бабы же брешут. Нам зубы заговаривают... Не помер он... только притворился.

– Что за жизнь, коли нет тебя, – голосили бабы.

А мужчины хохотали:

– Он им слаще меду. Как только мы сгинем, так он и воскреснет... вскочит...

После этого все поспешили в лес искать плакун-траву, чудесный папоротник, огненным цветом расцветающий на миг раз в году и именно в этот день. Кто овладел цветком, тот будет могуч и хитер, вхож во все дома невидимкой, того будут бояться князья и сами злые силы окажутся у него на службе. Женщины стараются найти плакун-траву на утренней заре. Найдя ее, они смогут наводить страх на каждого и даже на самих киевских ведьм, сумеют выгнать злых духов, которые вселяются в молодоков, овладеть силой волхва и присушить любого парня. Собирают и разрыв-траву, которая дается только тому, кто уже овладел папоротником – плакун-травой. И овладевшие разрыв-травой смогут разорвать любой запор и железный замок, ломать сталь, серебро и золото, стоит только на ту вещь положить разрыв-траву. А положивши кусочек той травы под ноготь и прикоснувшись им, отворишь любую дверь.

Целую ночь Роксолана искала и плакун-траву и разрыв-траву, но нет, не нашла. А ей страшно хотелось прийти в жилище Улеба невидимкой. И напустить на него присуху, уже не через волхвов, а самой. На заре она встала у ручья под болваном бога Ярилы, сердце ее горело и трепетало. Она подняла руки и стала просить у Ярилы сил преодолеть сладкую боль ожидания. Лес ответил ей призывным эхом. И тогда она запела протяжно, в полный голос, в котором была звериная жажда жизни. Пели травы, деревья, стонали от радости реки и озера, пела сама земля:

Солнце, солнце красное,
Во весь путь, во всю дороженьку
Светило бы моему суженому,
Чтоб с дороженьки не сбился,
Чтоб назад не воротился...

Она сжала грудь руками, опасаясь, что сердце выпрыгнет или разорвется, и жаловалась богу Яриле в радостном смятении:

Без него мне тошнехонько,
Без него мне грустнехонько.

Потом она пошла к речке, там подружки завивали венки и пели:

Мы завьем веночки
На годы добрые,
На жито густое,
На ячмень колосистый,
На овес росистый,
На гречиху черную,
На капусту белую.

Потом гадали: обрывали лепестки с венков и кидали их в воду, затем опять водили хоро- воды. И в это время Роксолана, увидя Улеба, набросила на него венок с себя и тут же скрылась, убежденная, что теперь уж он навек ее. Запыхавшись, она подбежала к берегу, где купались подружки, кружились и пели. Их пение сливалось с пеньем птиц. Солнце пробило себе путь через ветвистые кроны ив и заиграло золотыми блестками на тугих телах девушек. И в это время из зарослей кустов показались парни. Истошный блаженный крик пронесся над рекой. Всё смешалось и задвигалось. Роксолана увидела протянутые к ней руки Улеба и его опьяненные желанием широко раскрытые глаза. И тогда она почувствовала, что желанная минута настала. В диком восторге бросилась в сторону и побежала по лугу, убранному цветами. Она не видела подруг, которых парни загоняли в лес, не ощущала под ногами густой травы по колени, ни стыда, одно только непобедимое ярилино желание. Она слышала за собой яростное дыхание Улеба и вот изнемогла и упала в траву. И он упал подле нее, обхватил ее железным кольцом рук. Жестокое желание как судорога сковало ее, она поддалась.

– Ярило приказал мне быть твоей женой вовеки, – прошептала она, забыв стыд за свою наготу, страх, одно только желание теперь владело ею – во всем покоряться ему.

И после этого Улеб ввел свою жену в горенку, отведенную ему набольшим в семье. А в полдень, когда только они, насытившись любовью, поднялись с постели, прибыл из Будутина тиун. Созвали на совет всех членов этой большой семьи. Набольший за столом сидел белый как лунь. Это был дед Улеба. Он управлял большим хозяйством рачительно и искусно, его уважали в сельской общине. Подле него сидели по старшинству два его младших брата и три старших сына. В кути толклись женщины. Престарелая бабушка Улеба, тетки, троюродные сестры, еще незамужние рослые грудастые девушки, которые не могли удержаться от смеха, разглядывая

непривычную фигуру тиуна, то и дело фыркали, прикрывая рот передником. Бабушка грозила им издали, а двоюродные тетушки дергали их за подолы. Но это не помогало. Усилие удержаться от смеха только разжигало непобедимое фыркание.

Тиун был породен, с лицом кирпичного цвета, в тонких сафьяновых сапогах, в свитке с золотыми пуговицами. На распахнутой груди, облеченной в шелковую рубаху, сиял золотой крест с изображением повисшего на нем мертвеца. Этот-то мертвец и смешил девушек, которые знали, что все, носившие такие украшения, получаемые из-за моря, не любили смердов и причиняли им одни только беды. Они слышали от старших, что «удавленного бога» чтут одни богатые, бояре и их дети, и сама мать князя Ольга построила для «удавленного бога» богатый дом в Киеве. Они видели, что старшие презирали тиуна за его веру, и за его жестокость, и за его холопство перед холопкой же Малушей. Набольший не скрывал своей брезгливости к тиуну, но и боялся его. Все знали, что раз прибыл тиун, значит, над семьей стряслась какая-то беда, но в чем она заключалась, не могли угадать. Тиун догадывался, что его все ненавидят и презирают, как, впрочем, везде у смердов, но сознание того, что он холоп наложницы самого князя, придавало ему смелости, самодовольства и силы. Он был твердо убежден, что власть на его стороне, поэтому наглость сквозила в каждом его движении и жесте. Когда Улеб вошел в избу, а его ждали, пока он не оторвется от молодой жены, набольший указал ему место на дубовой лавке среди молодых мужчин. А Роксолану приняли в объятия две молодые девушки, ее троюродные золовки, и тотчас же начали вместе весело шептаться. Теперь она была членом этой семьи, вполне своей, и за нее они готовы были принимать любые невзгоды.

– Говори, а мы послушаем, зачем пришел, – сказал набольший тиуну.

– Госпожа моя, Малуша, приказала мне вернуть убытки, причиненные ей Улебом, который увел девушку, что работала в Будутине. Девушка Роксолана несвободна, а отец ее – закуп и вся семья – закупы.

Женщины тревожно зашевелились, набольший опустил дрожащие руки вдоль колен. Все сразу почувствовали беду. Тиун подкрался как тать к благополучию семьи, не выпустит ее из рук, пока не разорит, как это он сделал почти со всеми вольными крестьянами селения Будутино, которых он превратил в холопов и закупов и которые давно батрачили на барском дворе и на барской запашне госпожи Малуши. Тиун был очень доволен тем испугом, который обуял всех присутствующих. Он разяснил:

– Четыре года назад у покойного отца вашей снохи Роксоланы пала лошадь. Он взял у госпожи кобылу и обещал отработать за нее на пашне. Но он был нерадив, кобыла завязла в болоте и подохла. За гибель этой кобылы он должен был работать на госпожу по договору двенадцать лет. Но он умер до срока выплаты. Жена его и дочь Роксолана продолжали отрабатывать долг. Улеб отнял у моей госпожи отличную работницу. Кто в таком случае будет отрабатывать долг ее отца? Мать Роксоланы в летах и скоро тоже умрет. Верните долг, как того требует обычай, вдвойне, и я не буду ничего больше с вас взыскивать.

Набольший спросил невестку:

– Хозяйский конь погиб, когда отец твой работал на своей пашне?

– Да, это было так, – ответила невестка.

– Тогда ты должна заплатить за коня в самом деле вдвойне, чтобы быть свободной. Так повелось, и бесчестно поступить вопреки обычаю. Так сколько же, господин тиун, стоят два таких коня? Мы – заплатим.

– Конь был особых кровей, – заметил тиун. – Его князь Святослав подарил моей госпоже, возвратившись после заповенения ясов и кософов. Цены нет коню...

– Все-таки...

– Говорю вам, нет цены коню... Да мне кони и не нужны, – заявил тиун, и в глазах его отразилось довольство и торжество. – С тех пор как отец вашей невестки умер, мы успели обзавестись еще более лучшими конями. Нам, повторяю, кони не нужны. Но госпожу мою

лишили хорошей работницы, которая умела прясть, ткать и шить. И она должна отработать восемь лет за отца, как был у нас с ним уговор. Пусть невестка отработает в усадьбе госпожи моей эти восемь лет. Она незаменимая мастерица, нам нельзя ее лишиться.

– Она не холопка, – вскричал Улеб, – и не заставишь ее работать на барской усадьбе!

Тиун усмехнулся, боль Улеба была ему приятна. Набольший жестом приказал Улебу молчать и спросил тиуна:

– Во сколько оцениваешь ты старание молодой пряжи и ткачихи за восемь лет ее работы? Мы заплатим за это. Самая отличная лошадь стоит четыре гривны. Ты считаешь, что лошади Малуши были справные... Тогда их можно оценить в десять гривен. Цена отменная. Это не дешево, а дороже стоимости работницы за восемь лет ее прядения, ткачества и шитья.

– Э-э, голубь сизый. Работа пряжи и ткачихи не так дорога. Но Роксолана, кроме того, была еще искусна и в выращивании и уходе за домашней птицей, которую так любит на обед наша госпожа. Редких голубей в голубятнях, и уток, и гусей, и индюшек вот такой величины (тиун раздвинул руки во весь мах) умела выращивать только Роксолана. За такую работницу, которая должна нам восемь лет работы, не захочешь и шестнадцати лет другой работницы.

– Во сколько же ты оцениваешь шестнадцать лет работницы? – спросил набольший при затаивших дыхание домочадцах, застывших в ужасе. – И мы, так и быть, покончим этот разговор сразу.

Роксолана – виновница этого несчастья – стояла без кровинки в лице. Набольший еще ниже склонил голову. Тиун медлил с ответом. Наконец он процедил сквозь зубы:

– Шестнадцати годам работы закупа можно подсчитать цену и договориться о ней. Но вот оказия, за четыре года работы, которую выполняла на нашей усадьбе ваша невестка, за ней накопилась изрядная недоимка. Мать часто болела, и дочь не всегда вовремя выходила на работу. Это что-нибудь да стоит. Кроме того, за это время у ней пропало четыре гуся, трех баранов задрали у ней в стаде волки, да семь раз чинили ее ткацкий станок...

– Он был очень старый, станок... И на нем могла работать только я, – заметила Роксолана, а слезы закапали у нее из глаз...

Тиун не обратил внимания на ее слова и слезы, продолжал:

– Кроме того, у нее улетели голуби, целая стая...

– Их убили дружинники князя... когда приезжали на охоту, зажарили и съели...

Тиун не повернул головы в ее сторону и притворился, что этого не слышал.

– Да, был еще такой случай, – продолжал он, – находили мертвых кур. Я все это записывал...

Он вынул сверток из телячьей кожи и начал по нему читать. В страхе все глядели на этот лист, который хранил в памяти все эти несчастья, что обрушились на Роксолану.

– Да выдано ей полотна на рубашки, – продолжал тиун, – да сломал ее отец косу, да во время болезни посылали мы ему три корчаги пшена, да хоронили его моей же госпожи холопы, потерявшие во время молотбы целый день, да день справлялась тризна, ели птицу из наших запасов, да пили пиво и брагу. А будучи пьяны, проспали, а пошел дождь и вымокло и попортилось зерно, скирды погнили, это нанесло хозяйству большой убыток, и этот убыток записан за Роксоланой. Вот посмотрите...

Он ткнул пальцем в листок, но так как никто тут не был грамотен, то на листок даже не посмотрели.

– Нет, не хватит у вас всего добра, чтобы расплатиться за Роксолану.

Послышались вздохи, плач, всхлипывания. Лицо тиуна еще больше просветлело. За то время, как он управлял имением, он научился радоваться при виде чужого несчастья.

– Назови размеры нашего долга, как бы он ни был велик, – сказал старик, – отцы наши велели нам чтить обычаи. Мы не будем срамить память дедов и вернем весь долг, если он посилен...

Набольший смотрел с нескрываемым ужасом на обрывок кожи, на котором могли быть такого бессердечия знаки.

– Госпоже моей угодно, чтобы долг Роксоланы вносился в течение шестнадцати лет, начиная с этого года. После каждого отмолога вы должны приносить в усадьбу, к госпоже, двадцать кулей ржи, да десять кулей пшена, да десять корчаг меду, да три корчаги воску, да пять куриц, да две овцы. А зимой поставлять нам меха: десять бобровых, десять соболиных, да черную куницу. Да чтобы Улеб в пользу моей госпожи устроил на своих местах ловища и перевесища. И если какой зверь попадет в ваши тенета, тот зверь моей госпоже идет. Да с трех уловов рыбы в год: налимов, шук, окуней, язей, а если ерши в невод попадут, то оставьте себе. И если не выполните требуемое в течение года, то еще год выплаты вам добавляется. А если захотите избавиться от долга, то пусть который-нибудь из членов семьи пойдет к нам в закупы на шестнадцать лет.

Все застыли в ужасе.

– На все это, что ты требуешь за одного коня, можно было бы купить целый табун, – сказал старик. – Диву даешься, какая у тебя злая кожа, которая тебе записала все долги нашего родственника. Сами боги не умеют за одного загубленного коня получить с должника целое стадо. Ваш бог – жестокий бог и несправедливый, коли научил вас этому.

Тиун в гневе поднялся, постучал посохом в пол. Он больше не хотел продолжать разговор с этим рассудительным мужиком.

– Обычай требует, чтобы неплатежеспособный закуп стал рабом, – произнес тиун холодно.

Все знали этот обычай, но никто и думать не мог, что он может коснуться их доброго и послушного семейства. Отказываться от родственника, допустить его до рабства – это было бы величайшим позором для семьи состоятельного смерда. Тиун знал, чем сразить упрямого старика.

– На том поставим, – прошептал старик, убитый горем.

Тиун вышел, хлопнув дверью. Роксолана рыдала в кухне.

Домочадцы оцепенели от страха.

– Пес, – выругался старик, – он хуже огня, что испепеляет наши леса, хуже мору, хуже гнуса... Нет страшнее жить вблизи с княжеским селением. Смерд, сосед тиуну, – будущий холоп. У тиуна руки загребушие. Он теперь будет кружить около нас до той поры, пока всех нас не подведет под владычную руку госпожи. Что делать? Расчистим новую лядину, да вспашем под озимое. Да увеличим посев пшеницы, овса да гороха. Ты, Улеб, копай ямы, да обмажь их глиной, да обожги, чтобы хранить урожай без порчи. Наладь новые ловища и перевесища. Вы, бабы, смотрите за огородом, чтобы козы не поели овощи, чтобы лук и чеснок не потоптали овцы. Ох уж эта злая кожа тиуна, сведет нас в могилу. Удавленный бог мстит нам везде, и в городе и в деревне. Этот бог жалуется только бояр да князей. Недаром его любят княгиня Ольга да Малуша. Пойду погадаю у кудесника, чем все это кончится.

VII. Полюдьё

В ноябре месяце, когда заковало реки и озера, поля и леса завалило снегом и открылся санный путь, князь отправился из Киева в полюдьё. Он задумал оглядеть свои земли перед походом, установить справедливые порядки, навести суд и расправу, собрать оброки с населения и заготовить морские суда. Калокира он взял с собою, потому что без него скучал. Вслед за ними двигались обозы киевских купцов, они везли в глубинку областей киевские и заморские товары: юфть, посуду, железные и серебряные изделия, стеклянные украшения, словом, все, что пользовалось спросом деревенского населения. Многие воза были наполнены солью, вывезенною из Херсонеса, а также из Галича от западных славян. Для местной вотчинной знати везли купцы дорогостоящие византийские вина, художественные изделия, редкие предметы роскоши.

Из Киева князь выехал утром с огромнейшим обозом, занятым дружинниками. Закутанные в меховые шубы, путники пробирались по девственным лесам, чащобам и зарослям из дуба, бука, ели, сосны, березы и осины. Проезжих дорог было мало, приходилось продираться по сугробам и балкам, по замерзшим речкам, по скованным болотам и озерам. Долго не встречали никакого жилья. Только одни следы зверей виднелись на снегу: следы зубра, медведя, горностая, лося, куницы. Непуганые звери нехотя отходили прочь, завидя вязнувших в сугробах коней. Зайцы то и дело выскакивали из своих снежных нор. Белки, прижавшись к деревьям и подняв кверху свои пушистые хвосты, спокойно взирали на проезжающих и сталкивали на снег еловые и сосновые шишки...

Немало городов и сел за зиму объехал князь, побывал и в погостах, разбирал жалобы, судил, собирал оброк и много отправил всякого добра в Киев и в Будутино.

На праздник Карачун ему непременно хотелось попасть в Будутино к Малуше, там отдохнуть и повеселиться с близкими друзьями. Вот, наконец, достигли и Будутина. Это были уже родные князю места, тут он охотился, миловался с Малушей, сердце его наполнилось приятным волнением. Тиун Малуши приготовил ему обильное угощение.

Князь переночевал у Малуши, отдохнул и вышел на площадь, чтобы самому оглядеть свезенные с разных мест пушнину, дани и оброки. Смерды в бараньих полушубках и в заячьих шапках поздоровались с ним.

– Здрав будь, княже, – сказали они, поеживаясь от мороза и переминаясь с ноги на ногу, – женам твоим цвести во веки веков, тебе на радость, сынкам расти на подмену и утешение.

– Рад видеть вас крепкими, сытыми и довольными, – ответил князь, приближаясь к возам. – Благодарю на добром слове.

Смерды раскрывают кадки с медом, корыта с воском, кули с овсом, меха в дерюгах и показывают добро это князю, дружинникам и тиуну. Тиун отрывает комок меда, кладет на язык и наносит крестик на бирке. Тиун знает, сколько приходится и какого продукта с каждого смерда. Дружинники расстилают перед князем меха, проверяют их добротность. Обилие и разнообразие мехов радует князя. Калокир пробует шкуру на ощупь и одобрительно качает головой. Меха таких животных видел он только у жен царедворцев. Сказочно обильная, чудесная, безалаберная страна эта Русь, решает он про себя, погружая руку в густой, великолепный медвежий мех.

Возы доверху нагружены мехами, конца возам не видно. Добывалось это все смердами в рощах, в дубравах, в борах, в раменах. Медведь пойдет на шубы, на санные полости, на одеяла, на ковры. Из куниц, соболей и лисиц нашьют шапок, воротников. Из бобров сделают отличную обтяжку у колчанов; из волчьих шкур наготовят шлемов, а все лишнее продадут за море – грекам, персам, арабам, германцам, западным славянам. Волчьи, лисьи, соболя хвосты дружинники подвешат в качестве украшения к гривам своих коней.

Дружинники и тиун пересчитывают шкуры и ворохами относят на княжеские подводы.

На погосте – теснота, гул, галдеж, пьяные песни, драка. Всюду снуют бородатые старосты, перед которыми расступаются смерды. Снуют хмельные парни, заглядывающиеся на молодок. Дородные жены местных вотчинников, в лисьих и собольих шубах, толпятся подле лавок с женскими украшениями. На разостланных рогожах и дерюгах лежат кучи стеклянных бус, кольца, серьги, серебряные браслеты, греческие паволоки. Женщины, обдувая дыханием руки, нанизывают на них украшения. Бородатые, в овчинных тулупах купцы клянутся Перуном, Велесом, Дажьбогом, расхваливая свои товары. Мужья сердито бранят навязчивых жен.

Вдоль погоста бабы в дубленых шубах несут закутанные корчаги, глиняные горшки, медные чаши, деревянные ведра. Смерды толпятся подле приезжих купцов, прицениваются и рассматривают гарпуны, багры, крючки, иглы для плетения сетей. Дружинники скупают седла, стрелы, удила, колчаны. Всеобщее оживление заражало всех.

Появились скоморохи с медведем на цепи, начали показывать, как он пляшет, а сами били в бубны, играли на дудках, непристойно кочевряжились под неистовый хохот и гогот толпы. Из изб доносились веселые крики, хлопали то и дело двери шинков, и на улицу вылетали вместе с криками густые облака пара. Ухватив за длинные полы медвежьего тулупа, везли по снегу холопы свалившегося во хмелю брюхатого боярина. Толпа осыпала их сочными, солеными шутками.

Князь остался очень доволен обилием здесь товаров, людей, веселья. Приказал отправить оброки во двор Малуши, а сам пошел чинить суд. Это была утомительная процедура, но он занимался ею всегда охотно, когда выезжал за пределы столицы, потому что много было жалоб дельных. Тут он сталкивался с внутренней повседневной жизнью своей державы, проникал в истоки неурядиц, которых терпеть не мог.

В просторной теплой избе уже были разостланы на дубовых скамьях медвежьей шкуры для князя и его дружинников и помощников. На пол брошены собольи одеяла. Князь, как то диктовал обычай, сменил свой дорожный тяжелый тулуп на богатое торжественное синее корано – широкую накидку, богато украшенную, такую носили и бояре. Под нею была надета шелковая рубаха вместо льняной, как у смерда, которую князь носил в походах. Обулся в сапоги из мягкого желтого сафьяна и на голову нахлобучил бобровую сферической формы шапку с желтым верхом. В таком важном виде князь принимал жалобщиков. Поодаль стоял меченоша – гридь, он держал княжеский меч и щит – знаки верховной власти. Рядом с князем сидел Свенельд, искусственный в кляузных делах, истолкователь неписаного векового обычного права.

Около дома уже шумели и толкались всех категорий обиженные, ища защиты – праведного суда, управы на притеснителей и обидчиков. Особенно было много недовольных закупов, которые пеняли на тяжелые условия работы, и смердов, стонущих под игом невыносимых поборов. Привели смерда, убившего вора. Смерд застал его в момент, когда тот хотел похитить куницу, попавшую в западню. Смерд, согласно обычаю, захлестнул его шею веревкой и вздернул вора на высокое и крепкое дерево. Вор остался висеть до тех пор, пока не превратился в бесформенную массу. Родные признали его по сохранившейся пряжке на ремне. Они требовали возмездия.

– Сопrotивлялся ли вор, когда ты его застал и хотел привести к старосте? – спросил Святослав.

– Он даже укусил мне палец.

– Ты свободен, – сказал Святослав. – Вор, сопротивляющийся задержке, может быть убит на месте. Таков обычай отцов.

Потом явилась женщина, заявившая, что приехавший с князем дружинник и переночевавший у ней в избе, напившись, обесчестил ее. Князь велел позвать дружинника. Дружинник заявил, что это – «поклёп». Вдова сама имела явное намерение переспать с ним, но потребовала за это две кадки меду и две куну. И когда он не согласился, она пришла с грязным наве-

том отомстить за неудачу. Князь поглядел на плачущую в кути жену смерда, убитую горем, на самодовольного упитанного и богато одетого дружинника и приказал:

– Отрубите ему голову при народе, чтобы и другим не было повадно. И объявить по всем погостам, так будет поступлено со всяким, кто нарушает целомудрие.

Потом пришли смерды одной общины. Они жаловались на купца, который продал им соль такой влажности, что после того, как ее высушили в печах, ее осталась одна треть. Купец заявил, что эта соль не от него. Но все в один голос его обличили. Купец тогда сказал, что соль подменили в пути. Свидетели показали, что к соли никто не притрагивался. Купец сказал, что соль попадала под дождь. Смерды, в свою очередь, убедили князя, что на путях от Киева до погоста в ту пору дождей не выпадало. Купец заявил, что у него не было печи, чтобы соль высушить. Тогда было доказано, что все советовали ему это сделать и предлагали ему свои печи. Купец настаивал на своем, что князь зря слушает наветчиков, все они воры, лентяи и пьяницы. Купец им всем пригрозил тем, что и вовсе прекратит торговать солью на этом погосте. Святослав был в нерешительности, подумал, потом сказал:

– Испытаем купца водой. Так испокон века испытывали отпирающихся. Бог правду укажет.

Святослав велел связать купца и бросить в прорубь. Если купец выплывет – это знак богов, его объявят невинным. Купца бросили в прорубь, и он не выплыл. Все остались довольны судом князя: сам Перун обличил виновного.

Затем пришли богатый смерд и бедный смерд. Богатый загнал к себе во двор последнюю свинью бедного соседа и изжарил ее. Бедному в доказательство этого не на что было выставить «послухов», а богатый смерд выставил своих «видоков», которые показали, что бедный врет. Перебранка ничего не дала, кроме потока ругательств.

– Предоставим окончательное дело оружию, – решил князь. – Чей меч острее, тот и одержит верх. За то и боги. Пусть совершится судебный поединок. Богам виднее.

Богатый выставил вместо себя здорового наймита, а бедный бился сам и был сражен. Присутствующие решили, что Перун быстро разрешил вопрос и выявил истину.

После этого привели смерды мрачного вида мужика. Он украл лошадь в соседнем селеении.

– Есть ли кто-нибудь из сельчан, кто мог бы выступить в защиту этого человека? – спросил князь.

Никто не отозвался.

– Лишить смерда лошади – это преступление, которому нет равных, – сказал князь. – Предать виновника и его семью потоку и разграблению.

Несколько дней подряд разбирал князь кляузы, пораженный множеством проступков, о которых он и не подозревал, и злодейств, которым ранее не верил. К нему приводили матерей, продающих детей с голода; насильников, которые обещали на девке жениться, а потом лишали ее чести и продавали в рабство; разбирал драки и удивлялся их многочисленности. Чем только не дрались и во хмелю, и в здравом рассудке русачи. Дрались жердью, палкой, кулаком, на пиру чашками и рогами, рубили, выкалывали глаза, калечили до хромоты, выщипывали друг у друга усы, вырывали бороды... Холопов убивали запросто, бояр с оглядкой, штраф высок, да и родовая месть еще была в ходу.

Князю земские дела были в диковинку, и они наконец показались утомительными и скучными. Он уже отдал приказание передать их посаднику, как в это время вбежал всклокоченный Улеб и закричал:

– Где князь?

– Я буду князем, – ответил Святослав, с удовольствием разглядывая крепкую, ладно сложенную фигуру Улеба.

– Пришел я, князь, пожаловаться на разбойника... Житья вольным смердам от него нету... Собака! Хуже собаки!

– Укажи, кто он такой.

– Вот он стоит за тобой, князь... Сам холоп, а поедом ест и свободных смердов, и даже старост... У него у самого холопов уйма... Блудит, коли князя нету, а как только князь появился в наших местах, так хвост и прижал... Юлит.

– Выходи сюда! – приказал князь тиуну. – И послушай, что он скажет.

– Поверь, князь, он стал богаче твоей Малуши. В погребах у него больше меду, в сундуках – мехов, в ларцах – гривен, и служит ему целая армия холопов, которых он накопил на присвоенные у тебя деньги.

Улеб рассказал историю своей женитьбы и то, как тиун разоряет их семью, требуя новых и новых штрафов.

– Только на тиуна и работают.

Смерды подтвердили это криком.

– Окаянный! – пуще расхрабрел Улеб. – В Будутине все от него страдают. Скоро всех смердов в закупы и холопы превратит. Хуже он злыдня, хуже лихого печенег. Чисто кровосос. Успокой нас, князь, вели его повесить, нахала.

Князь нахмурился. Не в первый раз смерды жалуются на тиунов, да на бояр, живущих по соседству с сельским миром, и каждый раз приходится убеждаться, что они в чем-то правы.

– У него злые умыслы, – сказал тиун. – Блажь в голове...

– Что, что такое? – заинтересовался князь.

– Он говорит, что в старое время лучше жилось... Дескать, в нынешнее время и князья больше корыстуются... Дескать, родителя твоего смерды за корысть надвое разорвали. Как бы и нашему князю, дескать, не выпала бы на долю такая честь.

– Ишь ухарец, – усмехнулся князь. – Грызун. Не поклон-чивый. Ну это он по молодости... Еще не в полном разуме...

– Бояться их завсегда следует, князь, – сказал тиун. – Они боярское добро везде готовы разграбить. Угоняют скот, отодвигают метки... Воруют перевесища... А чуть скажешь слово – кажут кулаки... Намедни вот такой же оголец толкнул меня на борону. И сейчас на боку от зубьев не пропала вмятина.

Тиун показал на синее пятно на боку, задрав шелковую рубаху. Все убедились, что это следы побоев.

– Так его и надо, – загалдели смерды. – Еще мало. Он и женам нашим проходу не дает, отъел морду-то... У него завсегда свербит. Связать его да кинуть в омут на съедение сомам. А виру за него заплатим всем миром.

Мордатый парень высунул голову из-за мужика и крикнул:

– Драться как следует не умеет, пузан, царапается, как баба...

И показал толпе исцарапанную тиуном шею. Все засмеялись. Глаза князя засверкали веселым огоньком...

– А ты сбивай с наклоном одним махом, тетеря, – насмешливо сказал Улеб. – Вот так, – он показал, как одним махом сбивает противника на землю. – Тогда он в другой раз не полезет...

– Да и лезть ему трудно. Шелка порвет... – засмеялись смерды.

– Вот видишь, князь, – слезливо произнес тиун. – Не обуздать охотников своевольничать – это значит давать им плохой пример. Так он всех переколотит.

– А ты думаешь, спускать буду обиду? Я как шархну!

Кулачище поднялся над толпой. Князь подошел к Улебу, пощупал железные мускулы, подивился, улыбнулся...

– Дюж. В такой руке – любой меч как перышко.

– Он – кожемяка, – слышалось из толпы. – Он кожи мнет. Один раз под хмельком встретил быка на улице, так он схватил его за рога и повалил.

Князь потрепал парня по кудрявым волосам.

– Тебя тиун обидел? Ничего, дело поправимое. Решим дело «полем», Перун укажет, кто из вас прав, кто виноват.

Тиун побледнел.

– Как холоп, я не имею права драться со свободным!

Князь усмехнулся:

– Дерись, что за беда. Я разрешаю.

– Я болен, – плаксиво произнес тиун и стал скидывать с плеч рубаху.

– Ну ладно, нанимай «наймита».

Тиун выбрал самого рослого и толстого парня и заплатил ему три гривны. Улеб оглядывал его с ног до головы.

– Все равно и этому наваляю, – сказал Улеб. – Как будем драться?

– На кулаках.

– Баловство. Давай драться на мечях. И князю будет любо, когда я тебе живот вспорю.

– Ты вспорешь, а три гривны у тиуна останутся. Давай на дубинах.

– Что ж, давай дубинами.

Князь вышел с дружинниками на крыльцо. Бойцы скинули с плеч полушубки и взяли в руки тяжелые дубины. Парень-наймит как медведь зашагал прямо на Улеба, взмахивая вокруг себя дубиной. От таких взмахов могла бы расколоться и скала. Но Улеб увертывался и поне-многу отступал. Все жадно следили за исходом поединка. И всем казалось, что наймит вот-вот раскроит голову Улебу. А Улеб все пятился, и наймит все наступал. Дубина наймита с шумом проносилась рядом с головой Улеба, и даже страшно было смотреть на это. Вот-вот смерто-убийство. Наконец Улеб неожиданно присел, дубина со свистом пронеслась над ним. И тогда Улеб стремительно привстал и треснул наймита в бок. Тот зашатался, опустил дубину. Другим ударом Улеб свалил его с ног, и тот, корчась от боли, застонал на снегу. Возглас изумления и одобрения пронесся по толпе.

– Удал молодец! – восхищаясь, произнес князь и погладил Улеба по волосам. – Вот таким в бою как раз первое место. Иди ко мне в дружину.

– От молодой жены – никуда, зарок дал, – улыбаясь ответил Улеб. – Мне и так шататься надоело. Я два года в бродниках шастал... Дело было так. Поехал я к печенегам, коня по-купать, поглядел я на вольготную жизнь и остался у бродников. Там выучился на степных конях ездить, да по-печенежски говорить. Привольно в степях. Народ там тертый, а отваге есть где разгуляться. Люблю я степь и все-таки молодой жены не брошу. Она у меня лучше всех.

– Ну о чем он говорит? Жену ты везде добудешь, мечом любую сотню жен добудешь. А сидя у подола жены – ничего не добудешь. И самый острый меч заржавеет.

– Не одним мечом живы, князь. Земля и смердом сильна.

– Что верно, то верно, добрый смерд довольство приносит, воинов дает и умельцев. Ну приходи ко мне на пир сегодня.

– Негоже мне, смерду, среди бояр да тиунов толкаться. Бояре еще за срам почтут, со мной за одним столом сидя. Нет, князь, не пойду. Да меня и родственники ждут. По случаю женитьбы брага медовая заготовлена, лепешки по колесу.

Святослав сказал тиуну строго:

– Видишь, боги правду узили. Победителю слава и почет, справедлива его жалоба. Верни его семье все отнятое в отместку за павшего коня. Этот парень без ума от своей девки. Не мешай ему убедиться, как скоро баба приедается, как бы она сладка ни была. И ты уви-дишь, что он запросится в дружину. Только тогда он поймет, что лишь походы да содружество с мечом дают мужчине подлинную радость. А ты, тиун, иди на конюшню чистить моих коней и

убирать конский помет. На твой век этого занятия тебе хватит. На твое место я пришлю нового тиуна, более справедливого и не мздоимца.

Тиун поклонился до земли в знак полной покорности. Улеб, довольный исходом дела, сияющий шел домой и посвистывал.

У князя с Калокиром произошел такой разговор.

– Я видел несметные богатства твоей земли, князь, – сказал Калокир, – и многочисленность племен, и усердие земледельцев, и богатство твоих бояр, и железные ряды твоей дружины. И убедился в простодушии руссов, добрых в быту, строгих в бою. Но, князь, для меня непонятны твои поправки холопам. Хоть бы этот самый парень, которого приглашал ты в свою дружину, а он пренебрег. Достаток и вольность крестьянина порождают преступные желания: ему самому хочется быть боярином, невозможность этого ведет к зависти, зависть – к злобе, злоба – к мятежам. Власть должна быть грозна, непререкаема как для бояр, так и для простого народа. А что я вижу в твоей земле? Ласка, простота в обращении наводит этого парня на мысль, что он на равной ноге не только с тиуном, но и с боярами и с князем. Это снимает со смерда страх и снижает его способность к обожанию власти. Парень, который жаловался на твоего тиуна, способен пожаловаться даже на тебя, хотя бы своим богам. Но это и есть зерно преступления, могущее дать самый зловерный плод – ропот, неповиновение, недовольство. Высшая добродетель простого народа – терпенье без ропота, послушание без рассуждений, обожание властей как ставленников Бога. В нашем законе: «Несть власти аще не от Бога».

– Вот как, – с удовольствием произнес Святослав, – а ведь ваша вера имеет дельную закуску.

Святослав был жаден до мнений советников. Свежие мысли, если они были любы, им схватывались и запоминались. Ободренный успехом, Калокир продолжал:

– У болгар, которые были могучи при Симеоне, появились ереси богумилов, и государство слабо.

– У еретиков сейчас с уст не сходит: равенство, братство... Им – еретикам – хочется всех сделать равными, одинаковыми на земле. Мерзостное появляется племя... Опасайся, князь, как заразы этого. Воззри сам: разве у богов не вопиет все против этих вольнодумцев?! Боги не сотворили ничего друг другу равного. Нет двух равных листиков на одном дереве, двух цветков в степи, двух рыб в реке, двух одинаковых человек в мире. И стало быть, нечего перечить богам...

– Умная твоя речь, – сказал князь. – Но вот как думаю я: русские испокон веков не любили рабство. Свободный смерд старательнее, хозяйственнее, выгоднее для страны, чем унылый раб. В том вижу силу своей земли. И воины наши веселее и сильнее прочих. В этом сам в походах убедился. Смерд, оставивший для похода дома обильную пашню, борти, полный двор скота, и князю преданнее, и на поле брани храбрее... Нет, Калокир... Свободный смерд лучше раба. Он дает и хлеб, и мед, и меха, везде отличный работник... Великая опора всей нашей державы.

– Слов нет, народ твой здоров, храбр, усерден, земля обширна... но... не устроена.

Святослав поднял брови, пожал плечами...

– Да, да, не удивляйся, князь, моему впечатлению. Как можно не доверять своему тиуну, доверять обнаглевшему плебсу? Если нет твердости в тиуне – все развалится; ведь он один, а кругом море смердов. Учти это, князь! Твоя мать, которую подданные по праву прозвали мудрой, поняла это хорошо и раньше всех из вас. Она уничтожила хаос в стране, учредила погосты, установила нормы дани, ввела сборщиков и наблюдение над администрацией и народом. И оттого начался порядок... Только начался, тебе надо продолжить ее начинания. Вот ты послал тиуна – верного твоего слугу на конюшню. Однако его за твердость и преданность, умение ставить смерда на свое место надо бы поощрить и возвысить. Нет вернее раба, поднятого над остальными рабами. У него ведь одна опора – власть, тобой даденная, одно вожде-

ние – заслужить благоволение своего господина. Наказав его, ты посеешь своеволие у смердов, упрочишь наглость у своих подданных, подточишь преданность своих слуг, подрубишь тот сук, на котором сидишь.

Святослав подумал и согласился:

– Да, тут я погорячился... Преданностью подданных надо дорожить. На начальника всегда наветы... Это, положим, так...

Он послал сказать Малуше, чтобы отменили его распоряжение, тиуна не наказывали, наоборот, оказали бы ему еще большее доверие.

– Не отрицаю домоседской мудрости своей матушки, – сказал Святослав, – вижу в земских делах ее сноровку и твердость, тут она больше моего смыслит. Но приумножать свои богатства можно только тогда, когда опираешься на силу меча, вот чего не понимает матушка. Он есть верный друг отважного и истинного витязя.

– Вот уж истинно так, – сказал весело Калокир, ободренный тем, что он одержал верх в споре о строгости со смердами.

Вскоре они отбыли в Киев.

А Улеб шел к родне как раз на Колядки. Изрядно снежило. Ветер заворачивал полы шубняка, продувал спину. Ветер свистел в плетнях, кружился подле дворов.

Родичи его уже ждали. Дубовый стол занимал всю избу от красного угла до порога. На столе лежал огромный пирог, за которым, сидя на лавке, прятался бородастый прашур. Дети вытягивали шеи, чтобы его увидеть, и притворно спрашивали:

– А где же наш батька?

– А разве вы меня не видите, детки? – тоже притворно отвечал он.

– Нет, не видим, батька.

Из-за порога поднялся исполин отец. Он поднял руки к потолку и провозгласил:

– Дайте же, боги, чтобы никогда меня за пирогом не увидеть.

Он выпрямился, довольный и счастливый, и продолжал:

– Пошли мне, Сварог, чтобы и на следующий урожай не было видно меня из-за пирога. Уроди, Сварог, мне рожь, и пшеницу, и ячмень, и овес, и гречу, и лен, и коноплю... И загони, Сварог, в мою вершу всякую рыбу: осетра, и линя, и щуку, и налима, и сома. И загони в мое перевесище на ловище и рысь, и оленя, и вепря.

– И выдру, и хорька, и песца, и куницу, и соболя, и белку, – подсказывали женщины, опасаясь, что такую мелочь хозяин выпросить забудет.

Хозяин выпросил у Сварога и этих животных.

– И дай мне, Велес, много лошадей, и коров, и свиней... Пусть мой двор никогда не будет пуст.

– И коз, хороших коз с козлятками, и овец с ягнятками, и свинушек с поросятами, – продолжали женщины с упоением, – и еще просим умножить курочек, гусей, уток. – Хозяин испросил у Велеса и домашнюю птицу.

– И меду, больше меду, грибов и ягод, – подсказали дети. – Меду с целую реку и ягод по кулаку.

Хозяин испросил у богов и меду, и грибов, и ягод.

Обряд Коляды кончился. Все шумно двинулись к столу. Младшие ближе к кути, старшие в красном углу, около домохозяина. Улеба усадили рядом с домохозяином, угостили на славу. Свет, идущий от печи, делал лица людей багровыми. Под полатами висела плошка с конопляным маслом, в котором засветили конопляный фитиль. По сосновым неструганым стенам задвигались тени. Хозяйка вывалила на стол еще груды лепешек, да еще исполинский крендель, надрезанный в разных местах так, чтобы можно было вырвать кусок в любом месте. Домохозяин с треском разрезал огромный пирог с мясом и кашей и положил перед каждым по ломтю. Для взрослых поставили корчагу с хмельным медом, ногу медвежью, зажаренную на углях,

бок свиньи и вареных куриц. Перед детьми поставили на стол сладкое тесто на меду. Каждый хлебец изображал животного: или корову, или кабана, или медведя. Поставили корчаги с кашей на гусином сале, от них шел пар. Еще подали в глиняных плошках вареный горох с конопляным маслом.

Старшой прежде всего поднес ковш меду Улебу, тот выпил его одним духом. В родне Улеба все славились крепкими питухами. Разорвал гуся пополам, стал закусывать. Началась еда: резали медвежатину, пироги... Чинно ели, стало жарко. Улеб ослабил пояс и все ел и пил. Ему хотелось похвалиться победой над наймитом.

Он поднял свой железный кулак, грохнул по столу:

– Сродники! Мне тиун не страшен. Я любого тиуна сотру в порошок.

Дорвался, удержу нет. Похвалялся, что князь его в дружину звал, за столом обещал ему первое место, что весной однодревков заготовит, продаст его князю, на диргемах у половцев коней красавцев добудет.

– Сам боярином стану, холопов заведу, трех жен заведу. Жены мои будут шелками украшены. По селению пойдут – всех удивят.

Старшой поднес ему еще одну ендову, ласково погладил:

– Молодо-зелено. Не отстанет от тебя тиун, не простит обиду. Еще никогда не выпускал княжеский тиун из своих лап ни одного ему неугодного смерда. Ой, парень, рано веселую песню запел.

– Сам князь приказал отправить тиуна на конюшню и драть как сидорову козу. И власти лишит. Теперь его занятие – отхожие места чистить. Дерьмовщик. Выше князя на земле силы нету.

– Князь слуге страшен в тот миг, когда приказывает. А тут, хватъ-похватъ, князь, за заботами свой приказ и запамятовал, а слуге на руку. Тиун приказ князя забудет, а обиду смерда – никогда. Закупов из рук редко кто из тиунов выпускал, а этот тиун, что у Малуши, – лютый зверь! Малуша сама его боится, во всем угождать ему готова. Князь далеко, тиун – под боком, а ее бабье дело молодое, глупое.

– Нет! Вольничать тиунам князь не позволит, не таков князь, не такова Малуша. К тому же везде великой княгини глаз. Мудрой недаром зовут. Погосты завела, ловища да перевесища.

– А что погосты? Смерду от них одни только беспокойства да страхи. Круглый год княжеские люди нас объедают. Поборами замучили да постоями. Мосты строй, дороги прокладывай, за борти – налог, за землю – налог. Кто новую лядину зачистил, они тут как тут. Везде шарят, смотрят, значки на бирке метят. Скот у смерда проверяют, ловища отнимают. Княгиня Ольга везде насажала дозорных. Каждому дай... Вирники замучили. Дашь ему семь ведер солоду на неделю, да овец, да пшена, да хлеба, да браги... Все с нас, только со смердов.

– Князь не знает, а то бы...

– Это всегда так думают люди, что слуги балуют, а бояре добрые и ничего не знают.

– Я слышал, – сказал старший сын хозяина, – что в соседнем селении наместник отобрал ловища у смердов. Он ехал мимо перевесищ и увидел красивого лося в тенетах. И боярам сказал: беру за себя это ловище – этот участок леса. А смерды потеснятся.

– Враки, – возразил Улеб. – Смердам нечего тесниться, коли ловища на их земле.

– Смерды не хотели тесниться. Они в один голос говорили, что леса эти испокон им принадлежат. И все старики, выйдя из домов, указали на озеро, близ которого начиналась их земля, и вплоть до болот, которыми она кончалась. Так боярин велел стариков загнать в болото и утопить.

– Как же можно это делать, – опять возразил Улеб. – Это несправедливо. Князь накажет наместника как разбойника и вора.

– Боярин тот и есть самый наместник князя, – ответил старший сын хозяина, парень с русой окладистой бородой.

Улеб расхохотался, рассказ парня показался ему глупым и потешным.

– Сродник! – сказал Улеб. – Бабы сказки это. У них волос долог, а ум короткий. Вот и болтают. Никто из смердов не уступит свои ловища.

– Я был в том селении, – заметил младший сын хозяина. – Верно говорит брат. Боярин забрал себе лучшие ловища. И теперь он послал туда своих ловчих, псарей, бобровников, тетерников, разных ловцов. И всю эту ораву теперь смерды кормят, и даже многие стали закупками, задолжали боярину. И теперь боярин сам приехал на охоту с женками и холопами, тешится в лесах, а смерды то и дело несут ему мясо, рыбу, жито, мед и пиво...

– Не дойдут смерды до того, чтобы кормить боярских холопов. Никогда этого не было. Вот спросите у пращура. Он старые времена помнит... – пуще горячился Улеб.

Старик, сидевший подле хозяина дома, все время молчал до этого. Но тут оживился. Старик этот жил вторую сотню лет и первым пришел на эти места и пахал в любом месте и все леса считал своими. Все, находящиеся в погосте, были его потомками, но только установить, кто и кем кому приходится, он уже не мог. Сам хозяин дома смутно представлял, в каком он с ним находится родстве. Как только Улеб обратился к нему, старик встал, усмехнулся и ласково сказал:

– Нет, милоч, не похвалю я нынешнюю жисть. Все хорошее-то позади. Сравнения с прошлым нету. Бывало-то, не слышно было ни про бояр, ни про тиунов, ни про погосты. Разве только князь придет на полюдь. Снесешь ему три куны, тем и доволен. А нынче начальников как мошкары. И всякому угоди. И князю дай, и наместнику дай, и тиуну дай, и дружину корми, и всю челядь, и всех холопов... Тяжелая жизнь настала, милоч. Ох как тяжела, даже терпенья нету. Бывало, мы не враждовали из-за бортей, да и бортей-то не было. Вышел в лес, облюбовал себе любое дупло с роем и бери мед сколько душе угодно. И реки и озера были ничьи. Кто ловит, того и место лова. Скинул портки, влез в воду да и выкидывай рыбу на берег. И жен умыкали на игрищах, не спрашивая их желаний. Этой глупой дури, как сейчас повелось, и слыхом не слыхивали. Зачем бабе своевольство, от него один только грех. Перуна боялись больше и родителей чтили усерднее. И друг за друга держались в семье, как пчелы в улье. А нынче-то молодежь пошла испорченная, даже не знает, кто у них родня дальняя, а кто поближе. Боги нас, видно, покарали, и за дело. В скверности и неверии погряз мир. И даже слух прошел, кое-кто из бояр и сама княгиня Ольга носят на груди изображение удушенного бога. Как это наши настоящие боги терпят эту мерзость. Видно, до времени терпят.

Старик сплюнул сердито и сел. Никто не думал ему перечить. Улеб знал, что старики всегда прошлое хвалят и ругают молодежь. И принял речь старика не всерьез. А ендова то и дело переходила из рук в руки. Хозяйка не переставала подкладывать блины, которые тут же исчезали со стола. Улеб в не счесть который раз приложился к браге и сказал:

– Мы Сварогу дадим часть своих достатков, допьяна его напоим и принесем ему в жертву самого жирного вепря и большую печень оленя... И он нас не оставит.

Улеб переночевал у родичей, а поутру пошел к своей теще. У ней он оставил Роксолану. Он шел к ней с котомкой подарков, которые выменял на куниц в Будутине.

Он нес аксамит и паволоку, а также костяную гребенку, украшенную резьбой, стеклянный стаканчик, бронзовое змеевидное колечко, ожерелье из зеленой глины и медное зеркальце с ручкой, оканчивающейся изображением животного. Он знал, что Роксолана будет довольна и счастлива. Никто еще из женщин не имел такого зеркальца в Дубравне. Он подпевал ветру, пел про добрых богов, давших ему силу и ловкость прободать медведя рогатиной, положить на обе лопатки любого парня в Дубравне. Тот дряхлый старик, что брюзжал на молодых, он нелюб бабам, мужская ярость его покинула, боги его забыли.

Не чуя под собой ног, бросился Улеб в горницу, готовый от радости задушить Роксолану, обрадовать ее подарками, похвалиться вниманием князя. Но горница была пуста и холодна.

Медвежье одеяло валялось на лавке, прялка валялась на полу. Улеб выскочил в соседнее жилье тещи. Она лежала на печи и охала.

– Где Роксолана?! – вскричал он.

– Нет твоей Роксоланы. Проклятый тиун увел ее с собой.

Глаза Улеба налились кровью.

– Этого холопа Малуши я зарежу как поросенка и голову отнесу князю. Сам Святослав его осудил. Наверно, слышали все...

– Да, все слышали, а что толку? Князь попировал в Будутине да и уехал. А тиун опять стал хозяином в округе. Взял военных слуг Малуши и прибыл в мой дом. Схватили Роксолану за волосы, да так и выволокли... Куда увезли, того не знаю... Пока ты там пировал да колядовал, жена стала холопкой...

Улеб засунул нож за голенище, подарки бросил на пол и помчался к лесу.

– Куда? – кинулась теща. – Смотри, и самого себя погубишь.

– Свою жизнь не пожалею, а обидчика достану. Прощай, старая, может, не увидимся больше.

Вскоре Улеб был уже на вотчинном дворе. Он увидел тиуна близ конюшни. Тиун вывел жеребца и запрягал его в расписные санки. Он собрался куда-то ехать.

– Где Роксолана? – задыхаясь, крикнул Улеб.

Тиун испуганно метнулся к рядом стоящему холопу.

Тут он считал себя защищенным. Лицо его приняло надменное выражение.

– Роксолану ты увел с нашего двора без спроса. Ее вернули, и она стала холопкой. Госпоже угодно было продать ее на невольничьем рынке, чтобы возместить ее долг... Притом же госпоже не нужны строптивые работницы.

Улеб рванулся вперед, выхватил нож из голенища и воткнул его в живот тиуна. Тиун свалился на снег подле саней. Улеб вскочил в сани, ударил лошадь и помчался. Он мчался дальше от вотчины Малуши. Он знал, что за убийство тиуна его продадут в рабство. Его тщательно будут разыскивать по всей округе, выкликать его приметы на базарах, на площадях. И он решил ехать в Киев, где можно затеряться среди простого люда. Дорогу в Киев он знал, лошадь была справная, в пути смерды дадут ночлег и пищу.

А бор шумел, ветер крепчал, зайцы перебежали дорогу, конь храпел и спотыкался в ухабах.

VIII. Схватка с призраками

Под бирюзовым византийским небом в теплый мартовский день рынок Константинополя кипел, как котел. В разноплеменной и пестрой толпе мелькали фигуры сирийцев в полосатых коричнево-красных далматиках; персов в полукафтанах до колен; руссов в широких портках и холщовых рубахах; евреев в черных длиннополых лапсердаках и желтых развевающихся шарфах; длинноволосых монахов; загорелых арабов в бурнусах и тюрбанах и, наконец, ромеев в одеждах ярких, затканых павлинами, или пантерами, или апокалипсическими сценами, которые украшали грудь и спину. Погонщики ослов, нагруженных съестными припасами, умоляли дать им дорогу. И над толпою всюду качались головы невозмутимых верблюдов. Щелкали бичи, бухали бубны, звякало железо. Гнусавые слепцы тянули заунывные стихиры. Прохожие поспешно бросали слепцам в чашечку мелкую монету, а куски рыбы и хлеба – в подолы. Тут же в ногах шныряли столичные паршивые псы, разыскивая добычу вблизи мясных и рыбных лавок. Ремесленники и мелкие торгаши несли на спинах всевозможные товары в свертках, в узлах и кипах. Назойливые чиновники бесцеремонно разворачивали и клеймили товар. Около гадателей, каждому предсказывающих судьбу по Евангелию, по звездам, по рукам, густо толпился народ, ахал, охал, вздыхал, удивлялся, умилялся. Тут же сновали перекупщики, маклеры, продавцы вина, пряностей, пронырливые акробаты, мимы, бессердечные торговцы живым товаром.

Поставщики благовоний расставили свои столы поблизости к императорскому двору, чтобы туда, в Священные палаты, доходили запахи ароматов. В том месте, где торговали конями и рабами, народу было поменьше. Рабы и рабыни покупались только богатыми людьми, поэтому сборище здесь пестрело отменными шелковыми одеждами, дорогими украшениями. Опытные суетливые вофры перебегали от одной невольницы к другой, хлопали их пониже спины, обнажали, показывали и расхваливали их тела, рассматривали их зубы, щупали мускулы, измеряли торсы и бедра, мяли животы и груди. Подле самых свежих и дорого оцененных невольниц прохаживался в сопровождении блестящих гвардейцев, в пышной одежде, дворцовый чиновник. Он то и дело хватал за мягкие части девушек и брезгливо отворачивался. Ни одна не приходилась по вкусу. Вдруг взгляд его остановился на стройной рабыне, пышно-волосой, с большими голубыми глазами. Чиновник потрогал ее живот, повернул ее, звонко щелкнул ладонью по ягодице и откровенно залюбовался. Вофр подбежал к нему и, поворачивая девушку так и сяк, начал ее расхваливать.

– Это – славянка, получена из Киева... Потрогай, какие тугие груди. А бедра! Царица позавидовала бы ее красоте. Сам Фидий не вылепил бы ничего чудеснее. Выпрямись! – Он сорвал с нее и набедренную повязку. – Видите округлость живота? А линия ноги? А какая бархатистость кожи... Классические формы... Нежность лица. Зубы как жемчуг... И совершенно нетронута.

Дворцовый чиновник провел ладонью по животу невольницы и по бедрам. То же сделали и гвардейцы.

– Какова цена? – спросил чиновник.

– Пятьдесят номисм, – ответил, не поворачивая головы, толстый флегматичный барышник живого товара, анатолиец. – Ей только и быть в Священных палатах. Эта девица мне дорого досталась. Звать ее Роксолана... Звучное скифское имя.

Роксолана совершенно голой стояла у всех на виду, опустив голову, пока обсуждали достоинства каждого изгиба ее тела, и щупали его, и хвалили. Чиновник вынул деньги и бросил барышнику. Потом закупил еще несколько девушек, связал их вместе и, держась за веревку, погнал рынком ко дворцу. Гвардейцы перед ними раздвигали толпу, которая чем дальше, тем становилась гуще.

В рыбном ряду довелось даже остановиться. На низеньких столиках и на подстилках из камыша навалом лежала дешевая рыба, вокруг которой толпился худородный народ столицы. Тут же рядом громоздились бурты морской рыбы подороже: сапфиром отливали ее брюхи, серебрились устрицы, шевелились в корзинках крабы, как гигантские лепешки, лежала друг на дружке шишкатая камбала. Смерд от морской рыбы так плотно осел в воздухе, что чиновник зажал нос и начал орать на толпу.

Гвардейцы принялись ножнами мечей колотить всякого, кто стоял рядом; издавна привыкли к тому, чтобы им мгновенно везде уступали дорогу. Они и одеждой отличались от всех. Украшенные разноцветной каймой туники по колено, высокие сапоги из мягкой кожи, золоченые панцири, маленькие круглые щиты... все это сразу давало знать о их особенном положении при дворе. Щиты их бренчали, и о приближении гвардейцев знали загодя. Но на этот раз их поведение вызвало на базаре сутолоку, неприязнь, раздражение. Толпа загудела, стала их сминать. А то, что они вели красивых молодых невольниц, совсем возмутило горожан. Ведь каждый знал, как легко простому человеку попасть в рабство. Торговец, поднявшись на ящик с рыбой, кричал:

– Цены всё дорожают, народ стонет от налогов, а у них, паскудников, при дворе одна забота – нагие девки.

Он наклонился, поднял ящик с рыбой и бросил на головы гвардейцев.

– У, сытые рожи!

– Бей кровопийцев, толстомордых!

В гвардейцев полетели корзинки из-под овощей, поленья, горшки, доски. Гвардейцы обнажили мечи и стали ими тыкать в близстоящих горожан. Вой и стоны огласили улицу. Толпа метнулась за прилавки и взбудоражила продавцов-ремесленников. Вид исколотых горожан разозлил всех. С прилавков и столиков полетели в воздух рваные башмаки, кочаны капусты, тухлая рыба. Гвардейцы сомкнули щиты и дружно стали размахивать мечами. Это еще больше разожгло гнев толпы. Вот поднялся с деревяшкой вместо ноги торговец мясом и, стоя на бурте говяжьей требухи, потрясал топором в воздухе.

– Василевс – тиран. Замучил нас бесконечными войнами. Я сам десять лет дрался с сарацинами, подыхал в походах, голодал. А этим молодцам некуда девать деньги, как только на девок. А наши дети изнывают от ран на полях сражений... Всех съела война. А братец тирана – Лев Фока только пьянствует да спекулирует на хлебе.

Подбегавший гвардеец ткнул ему в живот мечом, и тот рухнул. Толпа взревела, потеряла всякую сдержанность. Мужчины толкали вперед орущих ослов и, прячась за них, доставали гвардейцев кольями и шестами. Мясники сбрасывали под ноги гвардейцам мясные туши, скорняки – меха, торговцы скобяным товаром – железные костыли, скобы... Все пошло в ход. Но гвардейцы, сделав круг, смело и ловко оборонялись. Тогда горожане собрали всех верблюдов, что были на рынке, и весь табун погнали на гвардейцев. Те кололи верблюдов мечами, и животные, бесясь от боли, окровавленные и разъяренные, своим истошным ревом усиливали всеобщую панику. Вскоре из Священных палат прибыла свежая партия царских охранников на конях, и они, топчя народ и рубя длинными мечами, сразу разогнали взбунтовавшуюся толпу. Вскоре рынок опустел. На месте побоища валялись человеческие трупы вперемежку с трупами ослов и верблюдов, утварью и скарбом. Свалка эта выглядела ужасной на вид и породила массу слухов. Все обвиняли Никифора, который дал волю солдатне, надменной и разнузданной.

С вечера хватали каждого, кто подозревался в бунте или в чем-нибудь проговорился. Тюрьмы переполнились в одну ночь. Никифор строжайше приказал найти главных виновников мятежа. Теперь в его расстроенном страхами воображении бунт казался особенно опасным, огромным и заранее подготовленным. Поэтому многие из горожан принялись среди ближних искать заговорщиков, чтобы угодить царю, выслужиться и тем добыть должность и титул. Начальник дворцовой тюрьмы приложил все силы, все свое старание, чтобы заговор выглядел

для василевса неимоверно устрашающим. (В заговоре никто во дворце не сомневался, само сомнение в этом как раз служило признаком заговорщика.)

У схваченных на площадях, на базарах и в домах отрезывали носы, перебивали колени; чтобы люди клеветали на других, их держали над огнем, забивали гвозди под ногти. И так как страх обуял всех и при этом все знали, на кого зол василевс и кого, стало быть, легче оклеветать, то вскоре было оговорено множество народа. Это были те строптивые люди, которым не нравились указы Никифора. Оговоренные под пыткой, они в свою очередь оговаривали других. Так приумножалось число «заговорщиков» со скоростью низвергающейся лавины. Заплечных дел мастера из всех сил старались угодить василевсу, приписывали жертвам царского террора самые тяжелые преступления. Некоторым Никифор велел выколоть глаза, других публично сечь на площади, третьим отрубать обе руки. Изопращенное византийское палачество не знало уему.

Особенная кара обрушивалась на тех, которые были уличены в неприязни к царственной персоне. Таких постигала традиционная и позорная казнь. Их раздевали догола, привязывали к спинам ослов, задом наперед, с таким расчетом, чтобы голова страдальца находилась под хвостом животного. Перед этим осла кормили дурной пищей, чтобы непрестанно выделяемые им экскременты попадали осужденному прямо в лицо. Все жители столицы содрогались от ужасов и замолкали, теперь никто не заикался о тяжести налогов, об изнуряющих военных походах Никифора, о безумной трате на роскошь двора, о продажности чиновников, о подозрительности царя, о жестокости его приближенных.

Желая скрасить впечатление от казней, царь решил потешить горожан исключительными представлениями на ипподроме. Сам он не любил ни пиры, ни народные зрелища, предпочитая им душеспасительные беседы с блаженными, чтение военных книг и экстаз молитвы. Но он никому не признавался в этом, чтобы не вызвать неприязнь столицы, которая посещение ипподрома вменяла в обязанность каждому уважающему себя ромею.

И вот с утра вдоль улиц двигались к ипподрому толпы народа, тянулись вереницы роскошных повозок, вели лошадей, покрытых расписными попонами, края которых волочились по земле и звенели висящими на них бубенчиками. Шли колонны трубачей, музыканты с огромными арфами, тимпанами из железа и бронзы. В толпе мелькали и монахи в скуфейках. Из своих владений приезжали динааты. Толпа разгульно шумела у стен ипподрома, теснилась вокруг лавочек, где продавались арбузы, сушеная рыба, печеные яйца, сладости. Выкрикивались имена возниц, взвешивались шансы коней. В открытые ворота у внутренних стен ипподрома мельтешили возницы в колесницах, убранных парчою и украшенных разными фигурками из слоновой кости. Виднелась и арена, и возвышающиеся ступени, под которыми были ходы в конюшни. Оттуда доносилось ржание коней, удары бичей, крики людей.

Пришло время, и толпа в своих просторных одеждах, затканых пестрыми узорами, потекла на ипподром, минуя стражу, неподвижную и строгую, в круглых золоченых шлемах, в панцирях поверх золотистой ткани, с вызолоченными секирами на плечах. Народ размещался под открытым небом. Царская трибуна возвышалась полукружием на отвесной стене. Она была прикрыта пурпурным занавесом. У ее подножия стояли гвардейцы, сдерживая толпу, несущую с собой из четырех просторных проходов тонкое облако пыли. В лучах солнца сверкали серебряные и золотые кресты на фиолетовых одеждах высокочтимых архиереев. На боковых сводчатых трибунах недалеко от царского места восседали сановники, чванливые и блистающие украшениями, с золотыми посохами в руках. Матроны со стеклянными и эмалевыми подвесками на груди, с причудливыми прическами, затянутые в голубые, зеленые и желтые ткани, с раскрашенными лицами, спесиво охорашивались на сиденьях, оглядывая себя в металлические зеркала.

Вот слышались пронзительные звуки органов, вдруг раздвинулся пурпурный занавес императорской трибуны, и взоры всех обратились туда. На троне сидел василевс Никифор

с женою Феофано. По обеим их сторонам находились избранные сановники. Из-под венца царицы, усыпанного рубинами, сапфирами, топазами, аметистами, изумрудами, выглядывало ее точеное, надменное лицо. Над нею стояли евнухи с опахалами. Сбоку августейшей четы стояли кувикулярии, держали знаки высшей власти: золотой меч, золотой шар, поддерживаемый крестом.

Василевс был очень угрюм. Маленькие его глаза из-за оплывших век, сверкающие мрачным огнем, беспокойно бегали по рядам ипподрома. Топорная его фигура оттенялась царственным великолепием дивной жены. Вот он поднялся, и снизу все увидели верхнюю половину его фигуры; он оглядел собравшихся брезгливо и поклонился нехотя. Точно ветерок прошел по кругу ипподрома, и все стихло. Троекратно и проникновенно он благословил собравшихся и подал знак музыкантам.

Раздались удары бубнов, взвилась яростная буря звуков. Раздвинулись железные решетки конюшен, стража посторонилась, и вот вылетели на арену блистающие колесницы. Их было четыре. Возницы, натянувшие шитые золотом вожжи, захлопали бичами. Бичи в воздухе опи-сывали круги и овалы, завязывали узлы, которые при ударах развязывались с дробным треском. Один из возниц уже опередил остальных. Люди привстали, следя за безумным бегом коней, и победитель был встречен истошным криком. Толстый чиновник подал победителю белый пергамент с красными печатями и опоясал его драгоценным поясом. К ногам доблестного юноши бросали венки и монеты. Женщины больше всех неистовствовали, глаза их пылали, из груди исторгались вопли восторга.

Никифор, который не спускал глаз с царицы, заметил, как губы ее дрогнули и засверкали глаза. Но оживление вспыхнуло на ее лице и тут же потухло. Царица уловила пристальный взгляд василевса и приняла привычный царственный вид: Никифор, восторженно, по-юношески обожавший царицу за красоту, презрение к опасностям, решительность и самобытность ума, был полон благоговения к ней. Он питал к ней только один благородный восторг, который посещает юношу в минуты самой высокой духовной настроенности. Он был счастлив оттого, что она была рядом. И в этот вечер, полный блеска и сладких звуков, напряжения высоких страстей и упоения удалью и силой, казался Никифору пленительной действительностью, опередившей самые смелые вымыслы поэтов. Он был твердо уверен, что нет более счастливой державы, чем Романия, и что сам Всевышний даровал такую благодать только одному избранному народу на свете – ромеям, мудрейшим хранителям непревзойденных духовных благ Эллады и железного Рима одновременно.

В ропот плебса он не верил, недовольство его относил за счет низкой зависти злодеев. Разве мало завистников и мелких недоброжелателей, корыстолюбивых душ, у которых все помыслы ограничиваются накоплением вещественного хлама? Никифор вот этих и ограничивает в их бездонном любостяжании. Они-то и вносят смуту в жизнь по греховности своей натуры. Но народ в целом – благоденствует. Да разве можно заикаться о каком-нибудь хотя бы даже затаенном недовольстве, глядя на этот смеющийся, ликующий, как бушующее море, и переливающий красками одежд ромейский народ – красу и гордость всего человечества?

Вновь загрохотали бубны, загремели литавры. Колесницы помчались вперед, сверкая серебряными сборчатыми уборами. Никифор отдался очарованию минуты, обозревая убранство ипподрома. Искрометные полотнища хоругвей развевались на тихом ветерке жаркого дня. Свежие, юные хоругвеносцы в белых, красных, голубых и лиловых мантиях олицетворяли в его глазах небожителей – серафимов. Миллионы отблесков излучали, отбрасывали обнаженные мечи и секиры стражи. Обелиск Феодосия и колонна змей – сплетение трех пресмыкающихся, поддерживавших головами золотой треножник – возвышались над этим грохочущим морем звуков, цветов, блеска... И когда Никифор невольно переводил взгляд на царицу, которая была главным украшением всего того, что он видел, душа его переполнялась благоговением. Созерцание возвышенной красоты приводило его в сладкое умиление. Любое желание она могла

внушить одним только выражением глаз. В глубоком затаенном волнении следил он за ней, но ничего, кроме невозмутимого величия, не мог заметить.

В перерыв между двумя заездами Никифор надумал подивить своих подданных одной новинкой, о которой он пока никому ничего не сказал. Он велел выйти на арену сотням своих гвардейцев, которым велено было потешить собравшихся примерным и красивым сражением. Василевсу казалось, что он убивает двух зайцев сразу: еще более возвышает свою гвардию в мнении народа, показывая ее во всем блеске, ловкости и силе. И в то же время выражает свое великодушное снисхождение к горожанам после всего случившегося, и, предоставляя им право восторгаться сейчас славой гвардии сколько угодно, тем самым заглаживает свои проступки. В этом примирении горожан с гвардией ему чудился акт царственной доброты. Сам он никогда не стал бы для себя лично унижаться до снисхождения к народу. Даже одна мысль об этом казалась ему оскорбительной. Но дело касалось репутации его собственной гвардии, которую он с таким усердием создал, воинственный азартный вид которой исторгал у него слезы восторга. Только ради нее он готов был снизойти до заискивания перед толпой.

Но когда высыпала на арену блестящая когорта рослых, молодых, прекрасных, мужественных гвардейцев, один вид которых, по мнению василевса, должен был привести зрителей в состояние блаженного экстаза, и она начала выстраиваться на арене в стройные ряды и послышался звон щитов, то вместо криков восторга наступила настороженная тишина. Все глядели друг на друга в немом недоумении: что бы это могло значить? На арене гвардейцы никогда доселе не появлялись. Намерения василевса никому не были известны, зато картина кровавой схватки с гвардейцами засела у всех в памяти, и многие избитые и измороженные на рынке находились сейчас на ступенях ипподрома. Напряженная тишина продолжалась недолго. Пронесся шепоток по рядам, раздались болезненные восклицания, и вдруг те, которые находились ближе к дверям, вскочили, с шумом кинулись к выходам и мгновенно затопили их. Тогда точно вихрем всех подняло со скамей. Кто-то крикнул:

– Вот как узурпатор решил с нами расправиться! Спасайтесь, кто как может.

И этот выкрик как эхо повторился в разных концах ипподрома, снял со скамей и тех, кто еще не подвергся всеобщей панике. И началось то неудержимое безумие толпы, при котором не рассуждают, не видят, не слышат ничего, ничего не хотят знать и только кричат, лезут и давят друг друга. Это тот случай, когда толпа уже наэлектризована, и самый ничтожный факт способен породить грандиозную катастрофу. Теперь всех сразу обуяло чувство, что гвардейцы высланы для расправы, и люди цеплялись друг за друга, падали под ноги бежавшим, сходили с ума. Растерзанные женщины валялись на ипподроме с раздавленными детьми.

Василевс понял это по-своему. Кому-то еще отвратна милость его! Гидра мятежа не добита! Кто-то еще и тут решил подстрекать к беспорядку. И он приказал немедленно загородить выходы и силой водворить народ на прежние места. Но когда воины встали стеной у выходов, толпа мгновенно смыла их. Василевс обозлился пуще. Он потребовал подкрепления и велел гвардейцам выставить вперед копья и секиры. Но задние не видели нацеленных копий и секир и продолжали отчаянно теснить передних, которые напарывались на оружие, повисали на копьях и тут же падали окровавленные. Мгновенно пронеслось по толпе, что при выходах режут и убивают. Еще судорожнее задние начали толкать передних. Крики и вопли усилились.

Гвардейцы, которым было приказано беспощадно мятежников усмирять, пустили в ход щиты и короткие мечи. Тогда в гвардейцев полетели древки, хоругви, жезлы, отнятые у сановников, обувь. Озлобление с обеих сторон приняло такие размеры, что даже тех гвардейцев, которые стояли безучастно, убивали сзади. Толпа, рассеянная по ипподрому, металась туда и сюда, и так как везде были преграды, то абсолютное отчаяние ее и безрассудство казалось василевсу, сановникам и страже – грандиозным организованным бунтом. Ни уговорить, ни успокоить ее никакими мерами уже было нельзя. Никифор, привыкший за свою жизнь везде видеть происки врагов, сказал приближенным:

– Теперь вы видите наше упущение. Враждебные нам негодяи проникли сюда во множестве и ведь сорвали великое празднество, опорочили гвардию, очернили василевса, обесславили империю. Я думаю, что любезный нам логофет примет самые суровые меры к изловлению злодеев, нарушивших покой народа и опозоривших его василевса.

Логофет полиции в ответ на это всей своей фигурой выразил полную готовность ловить сейчас же воображаемых злодеев, подвергать сомнению слова василевса не было в его привычках.

Стража была снята с выходов, и недорезанный народ хлынул на улицу, разнося смятение и страх. До самого вечера убирали с ипподрома трупы, измятые, исковерканные, обезглавленные, раздавленные. Их развозили по домам, и плач оглашал всю ночь и улицы и площади столицы.

А логофет полиции приступил к неукоснительному исполнению царского приказа. Ночью застенки и тюрьмы империи стали опять переполняться городскими жителями. Беспощадная, централизованная власть василевсов выработала самые решительные и изощренные по жестокости меры расправы. Людей хватили голыми в банях, вытаскивали из постелей от жен, брали в алтарях церквей, куда прятались перепуганные иерархи. Многие тела, обезображенные после пыток, показывали родным и заставляли их хоронить при всеобщем обозрении. Чиновники при этом безумно наживались, грабя и конфискуя имущество мнимых мятежников.

Люди боялись встречаться с родственниками погибших, заподозренных в измене, опасались молиться за родных, попавших в беду. Родители доносили на детей, дети на родителей. Народное воображение раздувало картины этих бедствий до самых фантастических размеров, от которых стыла кровь. Говорили, что тела замученных бросают по ночам в Босфор, и рыбаки боятся выезжать на промысел в море. Рыбу перестали покупать. Будто видали собак, которые вытаскивают тела людей из рвов и волочат их по городу.

Тюрьмы столицы оказались слишком недостаточными для неимоверного количества узников. Паракимонен Василий распорядился перегородить камеры и в этих клетках, в которых нельзя улечься, держал узников сидя, особенно тех, что побогаче. Люди быстро умирали, паракимонен быстро обогащался. Зловредная изобретательность охранников не имела удержу. Некоторым горожанам водворили стражу прямо в дом, так что нельзя было выйти без спроса даже по естественной надобности. Многих заточили в монастырь или выслали с семьями, но без имущества. А сколько было таких, которые из одного только страха убегали из города, нарядившись нищими, или надевали монашескую одежду, никем не преследуемые, побросав на произвол судьбы имущество, семью и любимое дело. Их родственников в таком случае тут же заносили в списки «злонамеренных».

Перепуганные тем, что не сумели предупредить заговор, и сами боясь оказаться заподозренными в измене, чиновники Никифора стали руководствоваться правилом: из десятка наобум взятых всегда (они думали так) окажется один мятежник. А под пытками и весь десяток сознавался в преступлениях. Причем в своих отчетах и донесениях чиновники тюрем и дворцовой стражи усугубляли преступления людей и тем самым увеличивали и без того маниакальную подозрительность василевса, который требовал все новых и новых арестов и расследований.

Паракимонен Василий хорошо видел нелепость всего происходящего, но молчал, ибо он отлично знал, что установление истины еще не созрело, дело не пришло к концу, когда именно василевс так или иначе, помимо чиновников и всех остальных, должен будет сам убедиться в чрезмерности своей подозрительности и опомнится. Пока же паракимонену было выгоднее присоединяться к общему мнению и желаниям василевса, чем опережать события и рискованно ратовать за правду. Он знал по опыту прошлого, что это начало конца, еще более страшного. Придет время, василевс осознает ошибку, и тогда наступит новая полоса преследований,

он начнет преследовать уже тех, которые до того сами преследовали, их-то он и заподозрит наконец в намеренном искажении фактов и в заведомо корыстном разжигании смуты в стране.

Поэтому, пока логофетом полиции и его приспешниками велись энергичные поиски все новых и новых мятежников и стоны не утихали под сводами тюрем, людям выворачивали на пытках руки, выкалывали глаза, вырывали языки, а чиновники упивались успехами сыска и набивали сундуки чужим добром, – паракимонен Василий тщательно, тайно собирал о чиновниках сведения и готовился к тому, чтобы этих главарей сыска, самых усердных и влиятельных при дворе, отдать в руки василевса как козлов отпущения за его собственные ошибки, когда тот, вынужденный логикой событий и силой обстоятельств, круто повернет в другую сторону. И василевс вскоре сделал это, когда тюрьмы сказались непригодными, чтобы вместить всех заподозренных, когда количество их все прибывало, когда в изменники попали самые порядочные и благочестивые люди, лично которых сам василевс знал, когда наглость и бесстыдство, шантаж и вымогательство осатаневшей полиции стали такими вызывающими, что порождали у граждан уже не страх, а отчаянную решимость, презирая смерть, идти толпами к самому василевсу и бросать ему в лицо слова презрения, после того, как ему стали поступать смелые протесты до того крайне робкого патриарха, бесчисленные письма, жалобы, послания от семей замученных горожан... Тогда василевс сам принялся судить и нашел несправедливость более попранной и униженной, чем позволяло его воображение.

Только тут он узнал самые обыкновенные вещи, известные в городе каждому: что чиновники губили людей, исходя только из того, выгодно им это или нет, что они доводили людей до смерти лишь потому, чтобы скрыть свои преступления, что только страх и пытки вынуждали людей оговаривать себя. И тогда он понял, что действительными насадителями мятежа были сами чиновники, сеявшие произвол, страх, обман, разоряя горожан, давая простор той жажде денег, которая процветала только в этом сказочно богатом городе. Он убедился, что преданностью василевсу и словословием прикрывались низменные и грязные дела.

И вот тогда Никифор вызвал паракимонена Василия и спросил, знает ли он об истинных возмутителях спокойствия. Паракимонен, который до сих пор считал единственно верной тактику говорить василевсу ничего не высказывая, на этот раз пришел, чтобы все высказать. И принес целый ворох бумаг с именами подлинных преступников.

Вынужденный всю свою жизнь применяться ко вкусам василевсов, считаться с их желаниями, утверждать обратное тому, в чем был крепко убежден, а поступать вопреки совести и своему желанию, всю жизнь оглядываться и угадывать намерения своих повелителей, паракимонен выработал то особое свойство ума, которое называется проницательностью. Он умел различать малейшие оттенки в тоне, в котором произносил слова василевс, и по ним угадывал его мысли. Он безошибочно понимал жест василевса, читал по его глазам, что ему следует предпринять, по обмолвкам своего повелителя судил о его самых затаенных намерениях.

– Автократор Вселенной, – почтительно склоняясь, произнес Василий, убежденный в том, что на этот раз он говорит абсолютно откровенно истинную правду, которая первый раз ему выгодна. – О, мудрейший и храбрейший из всех полководцев мира, которых я знаю или о которых читал у древних сочинителей... Еще они говорили, что в государственных делах одна маленькая ошибка становится матерью сотни катастроф. Поэтому, видя все разгорающуюся запальчивость корыстолюбивых чиновников, я стал проверять их работу. И я нашел, святой мой владыка василевс, что создатели мятежа – они сами. Трудно иначе объяснить весь тот ужас несправедливости и грязи, которая посеяна в умах наших горожан, благочестивых и послушных. Обогащение – вот та единственная цель, которую корыстолюбцы преследовали и которой они омрачали все величие твоего царствования. Вот списки тех скромных чиновников, которые сперва питались одной рыбой и хлебом и которые, создав смуту, через две недели стали самыми богатыми людьми в столице, обладателями вилл, земель и роскошных домов.

Василевс был очень доволен деятельностью паракимонена и его докладом. Во-первых, мятежники были все-таки найдены. Во-вторых, не все еще умерли от пыток, и Никифор, отпустив их на волю, выказал великодушие и мудрость: он наградил их тем имуществом, которое награбили чиновники сыска. В-третьих, приятно было сознавать, что количество недовольных не было так велико, как это изображалось в бумагах, в доносах и в судах. Паракимонен снял с должностей весь состав полиции и неугодных себе синклитиков. Имущество их было конфисковано, половина пошла Василию, другую половину он отдал пострадавшим. Сами представители сыска были публично казнены на площади. У самых больших чиновников отрубали головы, сажали их головы на пики и носили по городу. У чиновников поменьше отрубали левую руку.

Назначен был новый логофет и новый состав сыска. А так как должности в империи продавались, то паракимонен на этом деле чудовищно обогатился. Новый логофет начал раздувать вину своего предшественника и арестовывать неугодных себе лиц и наживаться на арестах. Но вынужден был умерить свои аппетиты. Василевс, учитывая опыт, косо взглянул на эту пруть нового логофета. Да и Василий не давал ходу логофету. Император и паракимонен были рады наступившему умиротворению. К тому же целиком были поглощены заботами о происках арабов на Востоке.

IX. Иоанн Цимисхий

В это чрезвычайно тревожное время в Константинополе только один Иоанн Цимисхий чувствовал себя превосходно, вне всякого страха и подозрений в полную меру предаваясь всем удовольствиям, доступным аристократу. Это был властный domestik Востока, военачальник всех вооруженных сил страны, одно упоминание имени которого приводило врагов в трепет. Прославленный Иоанн Цимисхий был другом и сподвижником сурового Никифора Фоки по громким азиатским завоеваниям. Недавно овдовевший и вырвавшийся из-под бремени неустанных военных забот, domestik разрешил себе в столице всю полноту жизненных наслаждений, которых лишен был в походах. К этому времени ему исполнилось сорок пять лет, и он находился в зените славы, сил и успехов. Ромейки считали его на редкость великолепным, обаятельным, обворожительным. Имел он лицо белое и румяное, золотистую бороду и такие же волосы, они придавали ему юношеский вид; голубые глаза его излучали изощренный ум, боевой дух. Взгляд его был смел, прямодушен, заразительно весел. Тонкий, прекрасной формы нос и нежная кожа – все в нем привлекало и поражало благородством и изяществом. Он был ловок, вынослив неимоверно. Цимисхий не знал соперника в метании дротика, в стрельбе из лука, в беге, в прыганье и во всех прочих телесных упражнениях. Он перепрыгивал сразу через четыре лошади, поставленные рядом. Во всем он был самонадеян, храбр до безрассудства. И вместе с тем привлекал к себе необыкновенной обходительностью, мягкостью в обращении, спокойствием, выдержкой. Любил оказывать помощь знакомым и был сказочно щедр. Для него ничего не стоило отдать назад огромный выигрыш, что он и делал не раз с жадным до денег и страстным игроком куропалатом Львом, братом василевса. Куропалат не был щепетилен в делах чести и с удовольствием принимал проигрыш, не будучи в состоянии сам отважиться на подобный поступок. Свое внутреннее презрение к высокопоставленному партнеру Цимисхий скрывал под покровом легкой шутиливой усмешки. Он одарял слуг с царской щедростью, в веселую минуту разбрасывал деньги по площадям и улицам, потешаясь тем, как прохожие кидаются за ними. Ему очень льстило, что об этом говорили. К его особенностям и слабостям относились две: он не мог жить без окружения женщин, много уделял им внимания и был чрезвычайно капризен и взыскателен в отношении стола. Он по праву считался образованнейшим человеком своего времени, уважал ученость, не расставался со свитками рукописей даже в походах. Отлично знал великих античных авторов, любил их цитировать и вел дружбу с поэтами и историками. Лев Диакон, популярный историограф, сочинявший историю своего времени, был у него завсегдатаем. Ученая молодежь толпилась в его палатах в столице и за городом. И до зари стоял там немолчный гомон, велись литературные споры. То было полной противоположностью тому, чему был предан неприхотливый мрачный и мнительный Никифор. Иоанн знал это, но свои взгляды, привычки, вкусы в пику дяде выставлял везде на вид. В то время как на площадях отрубали носы и уши мнимым мятежникам, а по церквам служили литургию и дребезжащий звон церковного била проплывал над водами Золотого Рога, призывая людей к молитве, Цимисхий, окруженный друзьями, молодыми щеголями, гарцевал на арабском коне по берегам залива, а ночи проводил в загородном замке, где его потешали толпы шутов и мимов, клоунов, цирковых акробатов и полуобнаженных гетер. Один он не скрывал своего мнения в эти дни всеобщего испуга. Он беззлобно вышучивал подозрительность василевса, его изуверскую набожность, а над куропалатом Львом надсмехался и называл его «разиней». Лев Фока никому не позволял себя вышучивать (все же он был брат василевса), но с властным domestikом, дружбой с которым он дорожил, ничего поделаться не мог и втайне завидовал его славе, независимости, богатству и тому, наконец, что Цимисхий всех очаровывал, не стремясь к этому. Когда на ипподроме в панике люда передавили друг друга, Иоанн Цимисхий, отпустив в адрес растерявшейся дворцовой гвардии злую шутку, уехал домой и

больше в царские палаты не появлялся, хотя знал, что василевс ждал его утешения, а Феофано несколько раз присылала рабынь, снедаемая жадой желанных встреч. Наконец сам Никифор послал за ним.

Перед царем на столе лежало раскрытое Евангелие. Цимисхий увидел царя очень постаревшим, уставшим и озабоченным. По привычке былых лет, узаконивших их дружеские отношения, Цимисхий попытался обнять дядю-царя, но тот угрюмо отстранился. Держаться иначе domestik не мог, и это его связывало. Он старался побороть свою неловкость легкой шуткой, но царь произнес хмуро:

– Я солдат, мне не до риторики, не до комедианства. Поэтому буду говорить с тобой откровенно...

Цимисхий насторожился. Голос Никифора прозвучал резко, неприятно:

– Я думаю, что ты у нас в столице вдоволь навоевался с блудливыми женщинами и тебе пора уехать на Восток, чтобы не разучиться владеть настоящим оружием.

– Я другого мнения, василевс, – смело ответил племянник, следя, как дергается веко повелителя. – Воевать с красивыми женщинами, пожалуй, потруднее, чем избивать безоружных мужчин.

Царь проглотил эту пилюлю. Дерзкий племянник неуютен был ему в столице, но незаметно на границе бесконечных войн с арабами в Азии.

– Не надо давать этим наглым сарацинам ни одной, даже маленькой, надежды, дорогой племянник, на то, чтобы осмелиться на нас напасть, – говорил Никифор уже ласково, но в голосе прорывался гнев. – Поэтому тебе следует постоянно об этом думать и жить там. Об остальном я позабочусь...

– И тебе, дядюшка, надо бы больше думать о северной границе и пожить там, вблизи от нее.

Это был злой намек на неудачный поход царя в Болгарию и на бесславное из нее возвращение.

Царь поморщился. Но переборол себя и сказал надменно:

– Север не страшен нашей державе. Глупые и дерзкие мисяне будут наказаны Святославом, этим отважным варваром, падким до добычи. Святославу мы послали золото и подарки, против которых он не устоит. Приманка уловляет рыбу, а людей – подарки и блеск золота. Святослав истощит силы болгар и, обессилев сам, найдет себе могилу на берегах Дуная. Так восторжествует истонная наша мудрость побеждать врага врагом же.

Святослав молод, горяч, неучен, неосмотрителен, упоен своими победами над презренными войсками восточных орд, похожих больше на пугливых женщин, чем на воинов. Привычка к легким победам над осетинами и черкесами приучила его к легкомыслию и похвальбе. Следует выдрать корень этот, пока он не созрел, чтобы не взрастить крепкое зелье у себя под боком. Святослав должен во что бы то ни стало погибнуть и гибелью своей попутно погубить и наших врагов на севере. Даже если он побьет болгар, ограбит их, ослабит, то и сам ослабнет, и в таком случае мы не в малом выигрыше.

А вот что меня огорчает больше всего: этот зловредный Оттон... Он узурпировал права, принадлежащие лишь нам – ро-мейским самодержцам. Мерзавец! Заставил папу короновать... Он присвоил звание императора Священной Римской империи, тогда как единственными наследниками и преемниками Константина Великого являемся только мы, мы – василевсы. Невыносимо, оскорбительно слышать о существовании второго василевса на земле – этого дикого презренного тевтона, варварского князька, присвоившего наш титул.

Епископы-самозванцы у него в полном подчинении, весь двор кишит ими, готовыми в безмерном угодничестве своем продать и душу, лишь бы сцапать чины и подарки. Паскудники! Сам Папа, еретический честолюбец, не перестает претендовать на первенство перед патриархом нашим. Лизоблюд! Терпение мое истощается! Я взбешен, в гневе, даже могу наделать

глупостей. Словом, о бабах, дорогой domestik, некогда нам с тобой и думать. Сказано до нас мудрыми: вождь, избегай удовольствий, чтобы не угодить, как рыба, в сети. Заруби на носу, дорогой племянник.

Раньше, когда они воевали вместе и были на товарищеской ноге, солдатская грубость и непререкаемость суждений Никифора нравились Цимисхию. Но сейчас они вызывали у него раздражение и злобу. Цимисхий все время ловил себя на мысли, что ему, проложившему дяде путь к короне, теперь приходится только покорно выслушивать его и соглашаться. Он не привык к этому, не мог принудить себя к покорности и поэтому мрачно молчал.

Никифор сверлил племянника колючим взглядом своих крысиных глаз.

– У нашей державы много недругов, domestik, ой много! И болгары, и арабы, и германцы... Да не только они. Притом же держи ухо остро и в отношении внутренних врагов. Многочисленные завистники Фокам... Еретики-мятежники... Вельможи и духовенство, которых я ущемил... Да мало ли других... А круг друзей наших суживается. Корыстолюбцы-сановники, думающие только о том, как бы поскорее обогатиться, увеличивают свои поместья и набивают подвалы золотом. Иереи им во всем подражают, пекутся не о Божьем, а о земном... А в народе ропот, и столица меня страшит. А новые войны на носу, они потребуют новых жертв, того не избежать. Единственная моя опора и утешение – ты и мощное войско на Востоке, находящееся под твоей верной рукой. И я тому радуюсь.

Василевс взглянул на него с явным расположением, даже в голосе слышались дружеские нотки.

– Но... – продолжал василевс и тяжело вздохнул, – печалит меня твоя беспечность и беспорядочные знакомства... рискованные... и, кроме того, эти блудливые женщины...

– Верный Богу василевс, – ответил Цимисхий, употребив в разговоре с дядей этот официальный титул византийского императора впервые, – я давно вырос из того возраста, когда мне требовались наставники. Поэтому мне нет надобности обзаводиться ими и сейчас. Мое уважение к тебе искренно, но твою мелочную и оскорбительную опеку едва ли смогу снести.

Никто в империи не позволял себе с царем так разговаривать. Рука василевса, лежащая на Евангелии, дрогнула, и Цимисхий услышал, как глухо звякнули вериги на теле дяди. Наступило тягостное молчание.

– Подумай, – сказал василевс сухо. – Всё взвесь и мне вскоре доложи о своих истинных намерениях...

В голосе его Цимисхий услышал что-то вроде угрозы. О! Кому-кому, а племяннику была известна непреклонная решимость Никифора. Племянник молча поклонился и пошел к выходу. Василевс остановил его у двери:

– Постой! Моя родственная обязанность предупредить тебя. Крайне неприлично тебе, воину, который весь смысл жизни и отрады находит на поле боя, шататься по гостям, как заурядному сапожнику, и сражаться с вонючими бабами и одерживать над ними легкие и омерзительные победы. А империя в кольце врагов... Да и трон тоже в опасности... (голос изменил василевсу, и, заикаясь от волнения, он продолжал). Трон... он шатается... Признаюсь тебе по родственному... Дай поцелую...

Василевс поцеловал его в лоб и перекрестил. Цимисхий ушел, удивляясь выходке дяди.

В одном из полутемных коридоров, вынырнув из ниши, взяла его под руку рабыня и сказала:

– Царица велела тебе прийти на ее половину.

Рабыня повела его в гинекей.

Цимисхий оказался в спальне, украшенной коврами, золотыми безделушками и иконами. Мраморный пол точно усыпанная цветами лужайка, стены выложены порфиром; тут было такое редкое сочетание цветов, что комната получила название «Зала гармонии». Привлекало внимание великолепие дверей из серебра и слоновой кости, пурпуровые занавеси на серебря-

ных прутах, золототканые обои на стенах с фигурами фантастических животных. С потолка свешивались большие золотые люстры. Мебель – драгоценнейший дар халифов Востока и продукт ремесленников Константинополя – с тонкой инкрустацией из перламутра, золота и слоновой кости – отвечала утонченному вкусу патрикия.

Царица Феофано сидела на резном деревянном кресле, опустив ноги на пурпурную подушечку. Лицо ее с мечтательной застенчивостью было обращено книзу и напоминало облик мадонны. Лампада освещала ее с одной стороны и придавала лицу выражение неземной страсти. А свет дробился и искрился в зеленых, оранжевых, голубых стеклах гинекея. Ангел с золотой трубой, летящий по своду над головой царицы, казалось, предохранял ее даже от окружающих. В полумраке ниши тяжелые шелковые занавеси скрывали собою пышное ложе царицы.

С благоговением опустился Цимисхий на колени перед Феофано и поцеловал край ее одежды.

– Поднимись, domestik, – сказала она тихо и застенчиво, – и будь немножко смелее в речах, которые, как слышала я, привольно расточаются для красавиц нашей столицы. И в то же время ты старательно избегаешь гинекея Священных палат... Чем мы провинились?..

Цимисхий лукаво улыбнулся. Понял, что он приятен ей и может допускать вольные шутки без риска задеть достоинство «царского величества».

– В отношении к женщинам, о прекрасное солнце нашего мира, я придерживаюсь полезного совета одного из наших современных пиитов: держись на страже, когда беседуешь с женщиной, не доступной тебе. Иначе ты обретишь одни только страдания. Глаза твои забегают по сторонам, сердце твое забьется, и ты будешь не в себе. И отныне диавол станет терзать тебя тремя средствами: неотразимой ее наружностью, сладкими ее словами, которые случайно тебе довелось услышать, а главное, обольстительным образом, который имел ты счастье воочию лицезреть. Победить силу этого – великая задача. Едва ли она мне по плечу.

– Смелее, патрикий... Ты проявлял большое мужество перед армией противника, тебе ли теряться перед женщиной...

– Я имею мужество быть робким, августа.

– А-а... ах...

Одним рывком царица сорвала платье у ворота и обнажила белую, упругую, почти девственную грудь. С помутневшим знойным взором она шла прямо на него, одежды скользили все ниже и уже путались в ногах. Он подался вперед, протянул руки и вынул ее из волнистых складок аксамита.

– Упивайся моим унижением, негодник, – сказала она тесным, замирающим голосом и обвила руками его шею.

И тогда он поднял ее и понес. Раздвинул двойную завесу ложа и увидел царскую постель, накрытую златоткаными покрывалами. Он сгреб их и бросил на пол комом. Потом опрокинул царицу на ложе. Действительность раскрыла перед ним всю полноту чар царицы, о которой он знал только понаслышке. Она была неутомима в любви, точно боялась оставить неизрасходованной хотя бы одну их мизерную долю. Пылкость ее показалась Цимисхию, опытному в любовных делах, почти невероятной. И тут он поверил всему тому, о чем при дворе передавали только с уха на ухо. И он допустил с ней такие грубости, что и простая наложница была бы шокирована. Но царице, жадной до чувственных наслаждений, нравилось это. Утомившись, она вдруг засыпала на несколько минут, а потом, вострепнувшись, спросонья опять принималась понуждать к новым ласкам. Был бы им конец – трудно сказать, но из предосторожности надо было оставить покои царицы. Служанка в чадре вывела его потайным ходом на улицу. И как только он удалился, в переходах гинекея замаячили фигуры женщин. Покои царицы оживились. Патрикий вместе с Феофано принялись шушукаться.

– Он будет наш вместе со всеми тайнами, секретами, помыслами, – сказала на ухо самой приближенной даме царица. – Романия ждет от него самых решительных действий, которые

я должна пробудить в нем. Я предвижу конец тирании постника, самозванно присвоившего титул василевса. Подозрения его превратились в болезнь, стоящую многих жертв моих и моего народа. Романия достойна лучшего василевса.

– Романия достойна лучшего василевса, а царица – лучшего венценосного супруга, – зашелестели патрикии, шепотом передавая друг другу.

Царица все решительнее говорила:

– Старик, забывающий в походах и молитвах венценосную супругу, истребляющий знатнейших мужей столицы, превративший державу в сплошной застенок, должен быть убран...

– Должен быть убран, – отдавалось сдержанным эхом в ушах патрикий.

Занавеси у ложа оставались распахнутыми, и на смятых простынях и подушках явно усматривал любопытный взгляд придворных дам вмятины двух тел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.